



ЯН ЮЗЕФ ЩЕПАНСКИЙ

В РАЙ И ОБРАТНО



АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЯН ЮЗЕФ ЩЕПАНСКИЙ

В РАЙ И ОБРАТНО



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1967

JAN JÓZEF SZCZEPAŃSKI
DO RAJU I Z POWROTEM
Czytelnik 1964

Сокращенный перевод с польского
Э. ГЕССЕН и К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ

Ответственный редактор
Г. Л. БОНДАРЕВСКИЙ

Щепанский Я.

Щ 55 В рай и обратно. Пер. с польск., М., Главная редакция восточной литературы Издательства «Наука», 1967.

208 с. (Путешествия по странам Востока). 50 000 экз.
66 к.

В книге рассказывается о путешествии польского писателя Яна Юзефа Щепанского на грузовом судне «Ойцов» по странам Ближнего Востока. Это путевой дневник, по которому читатель знакомится со всем, что открывается взгляду автора, начиная от встреч в кают-компании и на корабельной палубе и кончая его впечатлениями о портах, где корабль бросает якорь.

Джидда, Порт-Судан, Басра, Кувейт, Карачи, Абадан — все эти уголки земли, о которых читатель не всегда имеет ясное представление, показаны Щепанским конкретно и зримо, со всеми их внутренними и внешними противоречиями.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1964 году в известном варшавском издательстве «Читательник» вышла книга польского писателя Яна Юзефа Щепанского «В рай и обратно», ныне предлагаемая советским читателем в русском переводе. Жизненный путь автора типичен для польских писателей среднего поколения — борьба с германским фашизмом, участие во второй мировой войне, а затем активная и плодотворная литературная жизнь. Перу Щепанского принадлежат хорошо принятые читателями повести «Штаны Одиссея», «Польская осень», «Сапоги».

Осенью 1961 года Щепанский совершил на грузовом корабле Польского государственного пароходства «Ойцов» путешествие по Средиземному морю и Суэцкому каналу, посетил Иорданию, Саудовскую Аравию, Судан, Пакистан, Ирак, Кувейт, Индию и тем же путем — через Средиземное море, Атлантический океан и Балтику — возвратился на родину. Плодом этого путешествия явилась книга «В рай и обратно».

До этой поездки автор не занимался Востоком, и поэтому он не претендует на глубокие познания в области востоковедения. Во время путешествия он также не смог вникнуть в жизнь стран и народов Востока, во-первых, потому, что само путешествие было весьма непродолжительным, и во-вторых, потому, что он посетил лишь порттовые города — Александрию и Порт-Саид, Акабу, Джидду, Порт-Судан, Карачи, Басру и Бомбей. Несмотря на то что «Ойцов» в связи с погрузочно-разгрузочными работами простаивал в этих портах по нескольку дней, далеко не во всех городах вследствие таможенных и других формальностей автору удавалось совершать продолжительные экскурсии за пределы порта. Поэтому он и не считает себя особенно компетентным в жизни этих стран и называет свою книгу художественным репортажем.

Естественно возникает вопрос: какой интерес могут представлять путевые заметки человека, который пять лет назад посетил несколько портов Ближнего и Среднего Востока и Южной Азии? Одна-

ко уже с первых страниц книга захватывает читателя не только яркостью языка, не только блесками остроумия, которые рассыпаны по ее страницам, но и симпатией автора к народам Востока, только что добившимся независимости, и его суровым осуждением всех и всяческих проявлений колониализма.

При той быстроте, с которой на наших глазах не только ежегодно, но ежемесячно и ежедневно происходят крупнейшие изменения в странах Азии и Африки, нам иногда кажется, что автор описывает далекое прошлое. В самом деле, когда Ян Юзеф Щепанский плыл на «Ойцове» по Средиземному морю, еще полыхали пожары в Бизерте, где туниССкий народ вел арьергардные бои, добиваясь ликвидации французской военной базы на своей территории. В соседнем Алжире шестой год шла справедливая, освободительная война против французского империализма. В Порт-Саиде еще не были ликвидированы страшные разрушения после англо-французской интервенции. Радиоприемники, установленные на «Ойцове», приняли сообщение о трагической гибели в далекой Катанге генерального секретаря ООН Дага Хаммершельда. В Судане и Ираке еще господствовала военная диктатура генералов Аббуда и Кассема. За истекшее пятилетие народы Востока добились огромных успехов. Блестящую победу над колонизаторами одержал героический народ Алжира, полностью восстановили разрушения, нанесенные интервентами, трудящиеся ОАР. Оба эти государства с помощью Советского Союза и всего социалистического лагеря, в том числе, конечно, и Польской Народной Республики, успешно идут по пути глубоких социальных реформ, по предвиденному В. И. Лениным некапиталистическому пути, который приведет их к социализму. В сложной и трудной обстановке народы Судана и Ирака сбросили военно-полицейский режим, усилилась борьба народов Пакистана и Индии против военных блоков и военной угрозы за демократию и мир.

И тем не менее описание Яном Щепанским его «хождения за много морей» не потеряло своей актуальности. Внимательный взгляд польского писателя сумел даже за короткие стоянки «Ойцова» в портах обнаружить много интересных фактов и обстоятельств, которые не только представляют исторический интерес, но и помогают нам понять многие из современных процессов, происходящих в развивающихся странах.

В октябре 1961 года «Ойцов» покинул Польшу. Позади остались долгие месяцы подготовки, хождения по иностранным посольствам и консульствам для получения въездных и транзитных виз.

Первая продолжительная остановка была в Гамбурге. С презрением и возмущением автор пишет о разжиревшей германской буржуазии, о самодовольных гамбургских бюргерах, о социальных кон-

трастах в Западной Германии. Следующая остановка — Антверпен. Автор спешит посетить дом Рубенса на улице Рубенса, с грустью описывает встречи с «перемещенными лицами» — поляками, потерявшими в итоге второй мировой войны родину, но не забывшими ее и мечтающими, несмотря на империалистическую пропаганду, о возвращении в Польскую Народную Республику.

Наконец «Ойцов» бросает якорь в первом восточном порту — Порт-Саиде. Местный представитель крупной египетской фирмы, сопровождавший польских моряков в поездке по Порт-Саиду, открыто высказывает свое недовольство положением дел в городе, с брюзжанием говорит о падении культуры в Порт-Саиде — оказывается, там резко уменьшилось количество ночных кабаре и всевозможных ночных развлечений. Но истинная подоплека недовольства выясняется из дальнейшей беседы. Дело в том, что его фирма, тесно связанная с иностранным капиталом, еще недавно получала от обслуживания кораблей до трехсот фунтов дохода; теперь же эта цифра упала до трех. Прогрессивные социально-экономические реформы правительства ОАР нанесли серьезный удар по интересам крупной буржуазии, и ее представители и прихлебатели возмущаются. Небольшая зарисовка с натуры, но она весьма характерна.

Суэцкий канал пройден, но вместо следования по Красному морю «Ойцов» круто поворачивает на север и входит в узкий Акабский залив. Его цель — Акаба, единственный порт Иордании. Там всего один причал, и поэтому порт может одновременно принимать лишь один корабль. После длительного ожидания начинается выгрузка оранжевых польских тракторов, приобретших заслуженную популярность в странах Востока.

Во время стоянки в акабском порту происходит любопытная история, с большим юмором описанная автором. Корабль посещает какой-то авантюрист, подробно излагающий Щепанскому свой план свержения короля Хуссейна. Оказывается, все готово: страна кипит возмущением, в любой момент можно найти пять тысяч человек, необходимых для свержения прогнившего королевского режима. Остановка лишь за одним — для переворота нужны деньги, и притом немалые. Именно за этим и обращается посетитель к изумленному автору. Продолжительная беседа, конечно, ничем не заканчивается. С хорошим знанием методов буржуазной прессы и движущих пружин империалистической политики автор описывает события, которые произошли бы, если бы этот авантюрист получил деньги и сделал бы попытку государственного переворота: аршинные заголовки в западной прессе, бесконечные запросы в парламентах по поводу «коммунистической угрозы», заседания в ООН, а главное — выгодные и непрерывные поставки оружия как повстанцам, так и королю

Хуссейну, а затем новые поставки оружия арабским странам и Израилю в связи с обострением положения на Ближнем Востоке. Как это созвучно современной политике США и Англии в этом районе!

Оставив позади побережье Акабского залива, польский корабль направился в главный порт Саудовской Аравии Джидду — морские ворота Мекки. Автор подробно описывает обстановку в этом городе, отмечает стремление общественности и средних слоев поскорее покончить с вековой отсталостью, с красочной восточной экзотикой, которая восхищает многих европейских путешественников, и поскорее создать новую, современную Джидду. В этом разделе автор подробно излагает свои взгляды на ислам и историю народов арабских стран. Однако не со всеми его мыслями и предположениями можно согласиться. Например, неправильно утверждение, что основой ислама является идея «избранного народа». Автор часто смешивает некоторые положения, содержащиеся в Ветхом завете и в Коране.

Далее Щепанский пытается доказать, что Коран отвергает любые формы литературы, кроме религиозной. Но ведь как раз в период господства ислама расцветает не только хиджасская любовная лирика, но и начинается расцвет классической арабской литературы, внесшей столь значительный вклад в сокровищницу мировой культуры.

Имеются у Щепанского ошибки и при освещении новейшей истории Арабских стран. Так, например, конечно, нельзя согласиться с автором, что известный английский разведчик Лоуренс был «повивальной бабкой современного арабского мира»! Но, как уже отмечалось выше, не эти положения характерны для книги. Наш интерес к ней определяется не историческими и теологическими экскурсами автора, а его ярким и правдивым описанием современного Востока.

Путь «Ойцова» из Джидды в Судан был весьма коротким. Польские мореплаватели лишь пересекли с севера на юг Красное море и бросили якорь в Порт-Судане, главной гавани страны. Военно-полицейская диктатура Аббуда сковывала в тот период развитие производительных сил и общественной мысли Судана. Автор приводит немало любопытных фактов о коррупции правящей верхушки, о развитии бюрократии в стране. Чего стоит, например, колоритное описание «кладбища автомашин» на побережье, где под тропическим солнцем в течение нескольких лет ржавело шестьсот легковых автомашин, купленных за огромные деньги за рубежом и брошенных генералами-администраторами. Религиозная и национальная рознь — проклятое наследие долголетней деятельности колонизаторов в Судане — отравляла и отравляет обстановку в стране. Разлагающее дыхание колониализма ощущалось и в деятельности многочисленных миссионерских организаций в Судане. Описывая методы работы

миссионеров методистской церкви, автор не без оснований указывает, что «невидимые сети готовились поймать вашу душу».

Однако даже в условиях военной диктатуры, в сложной политической и экономической обстановке тогдашнего Судана уже ясно ощущалось отступление колонизаторов. Англичанин-лоцман, который вводил «Ойцов» в Порт-Судан, был последним иностранцем на службе у администрации порта, да и он с грустью сообщил полякам, что, когда они посетят Судан на обратном пути, его уже там не будет. Готовились к отъезду и представители иностранных торговых компаний, которые в течение десятилетий выкачивали миллионы из народного хозяйства страны. Автор подчеркивает, что молодому Суданскому государству, испытывавшему огромную нехватку национальной интеллигенции, в особенности технической, было очень трудно обходиться без иностранных консультантов, но тем не менее курс на «суданизацию» неуклонно проводился в жизнь, и это давало положительные результаты.

По выходе из Порт-Судана «Ойцов» совершил свой самый длительный переход — по Красному морю, Баб-эль-Мандебскому проливу, Аравийскому морю. Наконец якорь был брошен в Карачи — главном порту и бывшей столице Пакистана. Яркими красками описывает Щепанский жизнь большого восточного города, число жителей которого за несколько лет увеличилось с двухсот тысяч почти до двух миллионов. Десятикратное увеличение населения было вызвано расчленением страны и разжиганием империалистами и местной реакцией индо-мусульманских противоречий. В итоге кровопролитных конфликтов и страшной резни, вследствие индуистских погромов в Пакистане и мусульманских в Индии миллионы индусов вынуждены были покинуть насиженные места в Пакистане и переселиться в Индию, а встречный поток мусульман двигался из Индии в Пакистан. Вот эти-то беженцы и запрудили улицы Карачи. Именно за их счет выросло население этого города, не имевшего достаточно солидной экономической базы. Поэтому социальные контрасты, доставшиеся Пакистану в наследство от долголетнего господства английских колонизаторов, не только не уменьшились, а, напротив, еще больше увеличились.

Колоритно описаны в книге карачинские будни, которые ярко иллюстрируют создавшееся в городе положение.

В борьбе с наследием колониализма правящие круги страны далеко не всегда проявляли должную активность. С тонким юмором рассказывает автор историю с памятником королеве Виктории на одной из центральных площадей Карачи. Не решаясь оставить памятник королевы, более чем полувековое правление которой ознаменовалось резким усилением английского колониального гнета в Индии,

и не желая в то же время нанести «оскорбление» Великобритании уничтожением памятника, городские власти пошли на компромисс: у монументального памятника была заменена... голова, и королева Виктория превратилась в... деву Марию!

Польская Народная Республика поддерживала и поддерживает торговые связи с Пакистаном. Автор подробно останавливается на деятельности польской торговой миссии в Карачи. По словам ответственных работников миссии, на ее деятельности весьма отрицательно сказывается бюрократизм. Сотрудники миссии с одобрением говорили о значительно более оперативной работе своих чешских коллег.

Наконец дела в Карачи были завершены, и «Ойцов» взял курс на северо-запад. Позади осталось Аравийское море и Оманский залив. На третий день путешествия корабль начал рассекать бирюзовые воды Персидского залива.

Польский пароход плыл не только по трассе Синдбада Морехода, как указывает автор, он повторял маршрут древнейших арабских мореплавателей, славных оманских моряков, которые уже шесть тысяч лет назад на своих парусных кораблях поддерживали торговые связи между древнейшими центрами мировой цивилизации — долиной Инда, Двуречьем и долиной Нила. Наконец и Персидский залив позади. Поднявшись по Шатт-эль-Арабу и миновав иранский Абадан, «Ойцов» бросил якорь в конечном порту своего маршрута — главной гавани Ирака — древней Басре.

Ян Юзеф Щепанский возлагал большие надежды на пребывание в Ираке. Еще в Варшаве была достигнута договоренность о том, что он и его коллега Мариан Проминский получат в Басре визу, которая даст им возможность посетить Багдад, побродить среди развалин Ура и Вавилона. Однако в Басре они с разочарованием и возмущением узнали, что никаких виз нет; более того, полиция, плотным кордоном окружившая корабль, запретила польским литераторам выход в город. Так состоялось знакомство автора с военно-полицейским режимом Кассема. И это, конечно, не могло не наложить своего отпечатка на страницы книги, посвященные описанию пребывания в Ираке. С сарказмом говорит Щепанский о всемогущей полиции, о коррупции и продажности высших чиновников Басры, часть которых находилась не только в дружественных, но и в родственных отношениях с Кассемом. Многие факты, приводимые в книге, безусловно соответствуют действительности, однако не всегда автор дает им правильное толкование. Он не понимает в ряде случаев, что подозрительность, а иногда и враждебность к польским морякам и путешественникам была направлена не против них, а вообще против иностранцев, которые в течение десятилетий ассоциировались в сознании местного населения с английскими колонизаторами.

Распространяя свою критику на весь период правления Кассема, автор также не учитывал, что обстановка, с которой он столкнулся в Басре, а затем и в некоторых других районах страны, отнюдь не была характерной для революции 1958 года. В течение первых трех лет после свержения ненавистного режима Нури Саида в стране были проведены важные демократические реформы. Ирак вышел из Багдадского пакта, нанеся серьезнейший удар по всей системе империалистических блоков на Востоке. Однако рост демократических сил в стране запугал правые круги и влиятельные слои буржуазии, вызвал бешеное сопротивление внутренней реакции, империалистов и их агентуры. Под давлением этих сил правительство Кассема становится на путь реакции: в стране начинается преследование коммунистов, разгром демократических организаций, кровавый поход против курдов. И внешнеполитическая ориентация Ирака стала приобретать авантюристический характер, что нашло свое выражение в планах военного захвата Кувейта. Все это не могло не привести к резкому ослаблению правительства Кассема, к изоляции его режима. Стремясь удержаться у власти, Кассем и его ближайшее окружение резко усилили антидемократические мероприятия. Военно-полицейская диктатура приобретала все более зримые черты.

Именно в этот период, когда иракская революция переживала серьезный кризис, «Ойцов» и пришвартовался у причалов басрского порта. Щепанский нарисовал яркую картину диктатуры правительства Кассема, разоблачил трусость, продажность, приспособленчество административно-полицейской верхушки Басры, отметил различие между нищетой, забитостью, отсталостью крестьянского населения Южного Ирака и сравнительно высоким уровнем жизни, созданным для армии, все больше превращавшейся в орудие подавления демократических сил. «Там, „на гражданке“, — пишет Щепанский, — грязные лохмотья, едва прикрывающие наготу, крыша из истрепанной циновки, трепещущий под открытым небом огонек, пресная ячменная лепешка, канистра из-под бензина вместо кастрюли, здесь — сытость, надежный кров над головой, порядок, изобилие дорогого современного оборудования... Теперь армия поддерживала диктаторскую власть, участвовала в карательных экспедициях, посылаемых в курдские деревушки, стояла в боевой готовности на границе с Кувейтом».

Усиление полицейского гнета сопровождалось размахом националистическо-шовинистической пропаганды. И это также не ускользнуло от наблюдательного автора. С сарказмом описывает он ежедневные десятиминутные выступления Кассема по радио. С большим юмором рассказывает он о посещении польскими гостями образцовой школы в Басре. По приказу учительницы весь класс «погружался» в глубокий сон. По второму приказу, который означал: «проснемся как

герои», дети «просыпались» и рассказывали свои «сны». Одной девочке приснилось, что Кассем самолично гладил ее по голове, другой — грядущее присоединение Кувейта.

К числу пропагандистских мероприятий местных властей относилась и встреча польских литераторов с интеллигенцией Басры. В дальнейшем выяснилось, что представители интеллигенции, участвовавшие в банкете, были журналистами местной газеты и главным образом штатными и нештатными сотрудниками управления безопасности.

Эти и многие другие факты, приводимые в книге, представляют большой интерес. Читателю только нужно иметь в виду, что все они отнюдь не являются неизбежными спутниками антиимпериалистических революций на Востоке, а свидетельствуют лишь о сложных и трудных условиях, в которых проходят эти революции. Военно-полицейский режим, так ярко описанный Щепанским, говорил не о провале революции 1958 года в Ираке, а лишь о закате режима Кассема, потерявшего опору и поддержку широких народных масс.

Незадолго до отплытия из Басры автору и его спутникам удалось совершить экскурсию на север, в район Курны, находящийся у слияния Тигра и Евфрата. Там они нашли высокое дерево, около которого была прикреплена табличка с надписью на английском и арабском языках: «Священное дерево Адама. На этом святом месте, где Тигр встречается с Евфратом, выросло священное дерево нашего праотца Адама, символизируя собой сад Эдема на земле». Автор выражает сожаление по поводу того, что жизнь талантливого народа Ирака в то время была отнюдь не райской. Завершив свое путешествие в «рай», польские путешественники двинулись обратно.

Глава «Нефтяные миллионы» посвящена описанию визита в Кувейт. В тот момент положение в этом нефтяном шейхстве было весьма напряженным: армия Кассема стояла на его рубежах; из города только что были выведены английские войска и заменены отрядами членов Лиги Арабских стран. Описывая роскошь и богатство Кувейта, автор правильно показывает не только классовое, но и национальное расслоение в княжестве. Значительные доходы от добычи нефти попадали в карманы кувейтской верхушки, кое-что перепало и населению города, но лишь уроженцам Кувейта. Остальные жители — арабы из других стран, персы, индийцы — работали в сфере торговли и обслуживания, и им очень редко попадали крохи с барского стола. В то же время нашему автору предельно ясно, что главные доходы от эксплуатации кувейтской нефти, запасы которой превышают одну четверть разведанных запасов капиталистического мира, поступали и поступают в сейфы английских и американских монополий.

По пути в Европу, к большой радости Щепанского, «Ойцов» получил неожиданно приказ посетить Бомбей. Огромный город с его яркой экзотикой и не менее яркими социальными контрастами уже давно известен по многочисленным научным и популярным книгам. И тем не менее Щепанскому удалось дать запоминающееся описание «морских ворот Индии». И конечно, самое интересное это не пространные и не всегда точные историко-теологические соображения автора, а содержательный, слобренный хорошей дозой польского юмора рассказ о жизни Бомбея в дни Дивали — индийского праздника Нового года.

Покинув Бомбей, «Ойцов» снова пересек Аравийское и Красное моря, вновь прошел Суэцкий канал и древнейшим путем, связывавшим Восток и Запад, по Средиземному морю вернулся в Европу.

Автор закончил свой репортаж. Но читателям не скоро захочется расстаться с этой увлекательной книгой. Многие из мучительных страниц в жизни народов Востока, так талантливо описанных автором, уже перевернуты. В ряде стран ликвидированы военные режимы, несколько ослабла напряженность в отдельных районах Востока. В то же время многие испытания и даже военные конфликты пришлось пережить народам этих стран уже после поездки Щепанского и даже после выхода его книги в Варшаве. Немало трудностей придется еще преодолеть народам этих стран, на территории которых были расположены древнейшие центры мировой цивилизации. Но нам вместе с автором ясно, что, хотя путь народов Востока к достижению полной политической и экономической независимости отнюдь не усыпан розами, нет такой силы в мире, которая могла бы остановить их продвижение по этому пути. Сотням миллионов людей в странах Востока, упорно и напряженно борющихся за мир и демократию, за свое счастливое будущее, всегда обеспечены симпатии и всесторонняя поддержка народов Советского Союза, Польской Народной Республики, всего социалистического лагеря.

Г. Бондаревский

НА «ОЙЦОВЕ»

Что считать началом путешествия? Прощальный гудок сирены в порту или огонек буя на волнорезе, дрейфующий за бортом в темноте дождливой ночи? В воспоминаниях трудно установить этот момент. Возможно, началом было всегда одинаково унылое заполнение анкеты для заграничного паспорта или скука выстаивания в очередях за справкой, за печатью, за бланком — скука, с которой можно примириться лишь в предвкушении будущих впечатлений? А быть может, укол шприца, вводящего под кожу прирученные бактерии холеры, желтой лихорадки, черной оспы? Это уже гарантия более надежная, чем бумажки. Но кто может поручиться, что легкий озноб, сопровождающий прививки от болезней, которыми вы, по всей вероятности, все равно не заразились бы, не останется единственным залогом тропиков? Ведь до прощального гудка сирены пока очень далеко. Впереди целые недели ожидания, километры лестниц и коридоров, всевозможные сомнения.

Скучающие работники посольств еще не раз будут выпроваживать вас, давая понять, что правительства их государств должны как следует подумать, прежде чем разрешить вам ступить на территорию своей страны. Они увешали стены посольских приемных яркими проспектами с изображениями сказочных красот городов, гор и морских побережий, но все же им не верится, что кто-нибудь и впрямь захочет собственными глазами посмотреть на эти чудеса. В перерыве между двумя зевками они пронизывают вас испытующим взглядом. Писатель? Турист? В глазах мелькает скептическая усмешка: «Зайдите через десять дней».

Потом окажется, что та или иная виза была и вовсе не нужна, а пока вы мечетесь перед этой стеной недо-

верия, как лиса, ищущая вход в курятник, и постепенно сами начинаете сомневаться в честности своих намерений.

Но вот в один прекрасный день, без всякой видимой причины, вами овладевает равнодушие. Войдя в очередную приемную, вы ощущаете, что вновь обрели свободу. Вы начинаете строить планы проведения отпуска вместе со всей семьей где-нибудь под Варшавой. И вы счастливы, что сможете прекратить это бессмысленное обивание порогов. И тогда-то обычно наступает перелом, что-то вдруг продвигается. Даже если и теперь вас отправляют ни с чем, вы уходите с чувством удовлетворения — вы уже в пути, и прикованные к стульям фигуры посольских чиновников, их подозрительные, кисло-любезные лица не вызывают у вас озлобления.

Быть может, этот неопределенный момент и есть настоящее начало путешествия? Ведь потом, когда наступает час отъезда и цель достигнута, она в некотором смысле теряет свою привлекательность. Во вкус новых впечатлений приходится втягиваться постепенно, к ним привыкаешь не сразу.

Суда не торопятся покидать родной порт. Они не связаны строгими сроками. Впереди многие месяцы плавания, тысячемильные расстояния. Пересекая различные климаты и времена года, они будут скользить по окружности планеты, и механическое передвижение часовых стрелок окажется для них недостаточно точным определением времени — сутки придется то удлинять, то сокращать.

Для пассажира таможенный осмотр означает официальное прощание с родиной, хотя судно по-прежнему стоит у причала, кругом звучит родная речь и совершенно непохоже, чтобы оно готовилось отплыть «около полудня», как объявил начальник порта.

Я уже обосновался в своей каюте, увидел множество незнакомых лиц, и первое возбуждение улеглось. Пустоту ожидания отплытия заполняет смутное беспокойство. Что представляют собой эти люди, среди которых пройдут три месяца моей жизни на пароходе?

Мне знаком только один из них — мой полутчик Мариан Проминский. Но случайные встречи на собраниях союза — еще не близость. А общность профессии? Что греха таить: именно этого я и боюсь больше всего. Мно-

гие годы я упорно отказываюсь признать себя профессионалом. Прибегаю ко всевозможным уловкам и бесконечным психологическим маневрам, чтобы самому себе казаться просто любителем, как будто в профессии писателя есть что-то постыдное. У Мариана короткие усики, тонкий, сухой профиль. Его грустные, скептические глаза кажутся мне слишком выразительными, слишком пронизательными — я словно вижу их на обложке книги, как маску тщательно отредактированных мыслей, взглядов и суждений, достигших уже незыблемой статичности стиля.

Я с недоверием слежу за ним, зная, что и сам являюсь предметом столь же внимательного изучения. Не будем ли мы надоедать друг другу? Действовать на нервы? Ревниво скрывать свои впечатления, помня, что ведь это «материал»? Не будем ли, находясь вместе, постоянно ощущать себя писателями? Мне уже заранее становится жаль безмятежного отдыха, когда остаешься наедине с самим собой.

Но вот мы незаметно втягиваемся в судовую жизнь. Обед, покупка талонов для ларька, купание, первый нескладный бридж, когда обнаруживается мое беспредельное картежное невежество и мастерство Мариана, а также его чувство юмора и тактичная терпимость, обещающие сделать совместное пребывание на корабле легким и приятным.

Мы еще стоим у причала, но в то же время мы уже в пути, уже начинаем ощущать солидарность, порождаемую общностью судьбы.

Капитан, занятый последними формальностями, на минуту заглядывает в кают-компанию. Он сдержанно пожимает нам руки и произносит несколько любезных фраз. Несмотря на явные признаки лысины, капитан очень молод. Он похож на образцового ученика, всегда усердно выполняющего задания, всегда готового четко, правильно ответить учителю. Мы не знаем, что означает его сдержанность: робость или, напротив, самоуверенность специалиста. Он заранее предупреждает, что не играет в бридж, ссылаясь на свои обязанности. Мы не скоро раскусим его тактику, являющуюся лишь выражением деликатности исключительно добросовестного и тонкого человека, который очень серьезно относится к своему служебному авторитету, но избегает подчеркивать

его и делает все возможное, чтобы этот авторитет действовал сам по себе, без всяких усилий с его стороны.

Тогда нам трудно было угадать характер наших будущих отношений, предвидеть, что мы станем друзьями и будем коротать почти все вечера в увлекательнейших разговорах.

Некоторых представителей этого маленького мира можно узнать сразу по их внешнему виду. Первый помощник, например, представляет собой тип «классического моряка». Он принадлежит к довоенному поколению, а поскольку в современной литературе не создан еще портрет сегодняшнего морского волка, наша фантазия по-прежнему питается образцами, почерпнутыми из романов Конрада и с этикеток табака «Navy cut». Седые волосы, румяные щеки, мясистый нос в синих прожилках и — конечно же — трубка в зубах. В дополнение к этому — уверенные, неторопливые движения и молчаливость, за которой угадывается все классическое содержание «морской души». Первый помощник не таит в себе никаких неожиданностей и неинтересен нам. Его типичность будет служить ему надежной броней против всяких попыток проникновения в его внутренний мир. Живое воплощение литературной идеи — в сущности непознаваемое.

Таким же типичным персонажем кажется наш баталер. Тучность вообще-то к лицу человеку, занимающему эту должность, но сто двадцать килограммов — пожалуй, уже многовато. Мы подозреваем, что у баталера слишком много темперамента или слишком много чувствительности. Но только одно не приходит нам в голову — ибо такого еще не придумала литература, — что после первой же выпивки он заговорит по-цыгански.

Пока именно баталер терпеливо переносит мои картежные промахи, ежеминутно вытирая со лба обильные капли пота. Что же будет в тропиках? Впрочем, к этому времени с моей карьерой игрока будет покончено.

Четвертым играет старший механик Михаил. При первой же встрече с ним мы чувствуем, что скоро будем друзьями. С такими людьми сходишься быстро. Это крупный, широкоплечий человек с буйной шевелюрой, исполненный наивных, но самых лучших намерений. В данный момент он как раз бросил курить, но уже через час автоматически потянется за папиросой, а спохва-

тившись, снисходительно улыбнется. Он не переносит чувства отчужденности. Выросший в многодетной семье на одной из окраин Кракова, он на всю жизнь остался «мальчишкой с нашего двора», преданным сыном, братом, товарищем, рьяным игроком футбольной команды. Он не расстается со старыми друзьями и хотел бы всех новых приобщить к их кругу. Судно кажется ему слишком тесным, рейсы, отрывающие его от родных мест, — слишком долгими. Он уже сейчас расстроен, что столько времени не будет знать, как проходит первенство по футболу.

Те часы ожидания и раздумий о будущем, лишь начинавшем вырисовываться, стали для меня теперь далеким воспоминанием. Но время нисколько не сгладило в моей памяти резкого отличия дня отплытия от всех остальных дней пути.

Закончился ужин, начали сгущаться сумерки, и наконец надвинулась темнота, окаймленная полукругом портовых огней, отражения которых скользят по черной воде бухты. Запустили машины, и судно сотрясается от приступов мелкой дрожи. При каждом таком приступе в буфете звенит посуда. Мы сидим в кают-компании и от нечего делать рассказываем друг другу сухопутные сплетни. Из-за непрерывного вибрирования создается впечатление, что мы в поезде. Ночь все глубже. Дождь стучит по железному корпусу судна, густая завеса капель мерцает в свете берегового маяка. Тоскливо гудят затерявшиеся в темноте буксиры. Наше судно кажется опустевшим. Люки закрыли еще днем. Тракторы, которые мы везем в Акабу, давно укреплены вдоль бортов, трап поднят. Не слышно ничьих шагов. Молчаливая пассажирка со своим неменяемым от возбуждения сынишкой ушла к себе в каюту. Я не упомянул о ней, так как она едет только до Антверпена и с самого начала воспринимается мною как эпизодический персонаж, которому не предстоит сыграть сколько-нибудь значительной роли.

Итак, мы сидим, предоставленные самим себе, смиренно ожидая мгновения, когда тревожная аллегория путешествия во времени (столь явственно ощутимая в этой бездеятельной неподвижности) снова станет цепью событий, утверждающих — даже если они необыкновенны — «нормальный» смысл жизни.

Около полуночи из глубины коридора появляется Михаил. Из одного кармана брюк у него торчат кожаные пальцы рабочих рукавиц, из второго — длинный красный фонарик. Михаил берется за провод вентилятора над дверцей буфета.

— Хотите кофе? — спрашивает он. — Стюард всегда прячет ключ здесь. А тут, в холодильнике, колбаса и масло, если вы проголодались.

Мы включаем кофеварку и принимаемся хозяйничать в тесном полукруглом помещении, отделенном от кают-компания стойкой бара.

В этом ночном бодрствовании есть что-то домашнее. Зарождается привычка, ощущение уюта, судно перестает быть чужим. Возможно, это и есть начало рейса?



Сырая мгла размазывает очертания Борнхольма. Грязно-зеленые волны капризно шлепаются о борт. Горизонт затянут белесой паутиной. Мы вышли в море в третьем часу утра. Устав от праздного бдения, мы наконец разошлись по каютам, но не успел я раздеться и выключить свет, как за бортом раздался глухой стук буксира. Я в пижаме вышел на палубу. Мы плыли по сонному порту, где силуэты стоящих на якоре судов образовали причудливые конструкции, сливаясь с ажурными башнями кранов и освещенными частями береговых строений. Иногда на белом фоне какой-нибудь надстройки мелькала прислонившаяся к перилам неподвижная фигура матроса. Все это медленно отступало в ночь, поглощалось постепенно сужающейся, рябоватой полосой городских огней. Перед нами мерцали на черной воде разноцветные огоньки буев, все шире разбросанные, все более редкие. Буксир остался позади. Потом нас догнал яркий, как светлячок, лоцманский катер и тут же помчался обратно к берегу. Наконец «Ойцов» остался один. За кормой — темнота и влажное дыхание дали, как дома, когда выходишь ночью за порог.

День, холодный и ленивый, тянется долго и нелегко. Мысли возвращаются к делам, оставленным на берегу, а перспектива трех месяцев плавания угнетает бездной ничем не заполненного времени. Я сижу в каюте и читаю Коран в невыносимо педантичном немецком переводе.

Пытаюсь настроиться на его чужой — но все же содержащий общечеловеческие мотивы — метафизический лад. Ничего не получается. Европейский скепсис окутывает меня, словно холодный северный туман.

«Аллах — нет божества, кроме Него, живого, сущего; не овладевает Им ни дремота, ни сон; Ему принадлежит то, что в небесах и на земле. Кто заступится пред Ним, иначе как с Его позволения? Он знает то, что было до них, и то, что будет после них, а они не постигают ничего из Его знания, кроме того, что Он пожелает...»

Глаза у меня слипаются, хочется спать. Слова Корана «тяжестью лежат в моих ушах», как говорит Мухаммед, и «звучат, как далекий зов». Мы давно уже не боимся ничего, кроме самих себя. Хорошо это или плохо? Становимся ли мы от этого счастливее или ближе к истине? Быть может, путешествие даст мне ответ? Но я в этом сильно сомневаюсь и кладу на полку испещренную учеными сносками книгу, не испытывая ни трепета, ни самоуспокоения.



Мы собираемся вместе за трапезами, которые оживляет безуспешная борьба грустной пассажирки с ее непослушным отпрыском. Мальчик, с трудом схваченный в каком-нибудь уголке машинного отделения или силой извлеченный из шлюпки, не может усидеть за столом. Он неожиданно вскакивает, проливая суп, и выбегает на галерею у кают-компания, чтобы криком спугнуть сидящую на перилах птицу. Каждую минуту он придумывает что-то новое. Мальчик ловок, как обезьяна, и чуток, как летучая мышь. Всем нам приходится беспрестанно с ним возиться. Укрощенный, наконец, он в отместку матери высмеивает ее неправильную польскую речь. «Говорят не кафе, а кофе!», «„Положи ложки?“ Какие ложки? Ведь ложка у меня одна, ха, ха!» — и он сотрясается от визгливого смеха.

Бедная женщина прикрывает глаза и устало складывает руки.

— Я учила этот язык пятнадцать лет, — вздыхает она, — да так и не выучила.

В ее словах горечь поражения, сожаление об ошибке, длившейся так долго. Она не жалуется, но весь ее облик — сплошная жалоба.

Мы думали, что даже запомнить ее как следует не успеем, да и она делала все возможное, чтобы не привлекать к себе внимания, но людское горе бросается в глаза, как рубище нищего. Каждая, казалось бы, нейтральная фраза выдает ее. Она говорит, что едет в Утрехт навестить больную мать, но мы уверены, что она оттуда не вернется. Трудно сказать, на чем зиждется наше убеждение. Оно складывается постепенно, на основании ряда мелких примет. Выражение «у нас» в ее устах вначале означает покинутый ею недавно то ли Тарнов, то ли Сапок, но потом все чаще, а вскоре уже полностью относится к Утрехту. Знаменательно и то, что ее пугает цель путешествия. Краткий визит не мог бы внушать такого страха. Кроме того, в беседах с нами она иногда проговаривается. Ее, например, беспокоит, как будет заниматься Юрочка в голландской школе. Другой язык, другая программа — все заново. Мальчишка прислушивается и вдруг замолкает. На его подвижном лице застывает выражение враждебного, детского недоверия. «А я все равно вернусь к папе!» — воскликнул он однажды, барабанив кулаками по столу. Широкие, рыхлые щеки женщины густо покраснели. Она вскочила и потащила сына в каюту. Из-за двери доносились плач ребенка и сдавленные, отчаянные уговоры матери.

О судьбе ее догадаться нетрудно. Вероятно, она никогда не была красива, но в молодости, пятнадцать лет назад, в ней могло быть много обаяния. Ее жирные, неухоженные волосы, должно быть, когда-то отливали глубоким каштановым блеском и окаймляли голову пышной короной. Лицо, еще не тронутое отчаянием, привлекало здоровьем и юношеской свежестью. Большие, чуточку навывкате глаза не всегда смотрели с выражением тупого изумления — изумления, которое (как мы догадываемся) росло с каждым годом и становилось привычным по мере того, как действительность неудачного брака и будничных забот в чужой стране отодвигала все дальше в прошлое волнующую встречу с иностранным офицером, окруженным романтическим ореолом странствий и героической борьбы.

И почему-то мы все чувствуем себя в какой-то мере ответственными за разочарование этой жертвы сентиментальных иллюзий, за ее огрубевшие, потрескавшиеся, как у прачки, руки, за ее дешевый изношенный

костюм, за все эти симптомы капитуляции и загубленной жизни.

Нам кажется, что мы должны приложить все усилия, чтобы воспоминание о второй родине не вызывало у нее чувства горечи. И это ощущение превращается как бы в общую тактику поведения по отношению к пассажирке. Стюард, наливая ей суп, всегда находит предлог улыбнуться и добродушно пошутить. Матросы делают вид, что они в восторге от выходок ее противного Юрочки. Мы ведем себя как здоровые люди, пытающиеся внушить тяжелобольному, что он тоже здоров. Если пассажирка говорит, что она хорошо спала, что ей понравилось то или иное блюдо, что приятно было купаться, — мы воспринимаем это как свою маленькую победу. И, быть может, подсознательно ожидаем какого-нибудь более серьезного, более полного удовлетворения.

Нечто вроде развязки или скорее перелома происходит незадолго до нашего с ней расставания.

Однажды во время обеда наша героиня вдруг застывает, поднеся ко рту вилку. Глаза ее становятся влажными, лоб сосредоточенно морщится.

— Это будет жаль, — говорит она неожиданно мечтательным тоном. — У нас не делать такой пирожки.

Мы испытываем чувство облегчения и одновременно разочарования. Но прежде всего облегчения. Словно кто-то избавил нас от необходимости играть слишком патетические роли. Пассажирка нас больше не трогает, не мобилизует. И ее исчезновение с борта «Ойцова» остается почти незамеченным.

МИР БУДЕНБРОКОВ

«По ржи, по ржи», как говорил Михаил, мы доплыли до Гамбурга. Ржи, конечно, никакой не было. Только тракторы тащили с намокших лугов прицепы, груженные сырым сеном. Равнодушные к осенней непогоде пегие коровы провожали нас сытыми, скучающими глазами. То же выражение глаз было у солидных, флегматичных рабочих, обслуживающих шлюзы канала. Сухощавые, низкорослые, кривоногие, все в одинаковых черных куртках и черных фуражках с набивным узором на околышах, они напоминали тщательно загримированных статистов

из фильма на индустриальную тему, фильма, действие которого могло с одинаковым успехом происходить как в наши дни, так и полстолетия назад.

Наше крайне медленное продвижение, долгое выживание очереди у каждого шлюза, пока железный рупор диспетчера не загремит окриком «Ойцов!», однообразная серость измороси — все создавало иллюзию остановившегося времени.

На некоторое время мы задержались в полном сквозняков устье Эльбы, где на желтых волнах прыгали накренившиеся паруса яхт, и снова «по ржи, по ржи». Наконец перед нами открылся огромный лабиринт портовых бухт, освещенный внезапно вынырнувшим из туч холодным солнцем и наполненный голодным криком чаек и гудками судовых сирен. Суда под самыми разными флагами бороздили винтами фарватер, бесчисленные катера, буксиры, плавучие краны и паромы суетливо металась от мола к молу, от причала к причалу. Казалось, воздух пульсирует, задыхаясь от энергии, извергаемой материком. Горизонт был закрыт лесом мачт, труб и кранов, чьи изогнутые стрелы медленно и хищно двигались на фоне туч.

Старик в засаленном комбинезоне, подплывший к нам на маленькой весельной лодке, чтобы принять чал, показался мне осколком какой-то чужой, давно исчезнувшей цивилизации.

После обеда мы сошли на берег. Дождь усилился. Мелкие капли ударяли по стеклам «фольксвагена», на котором представитель торгующей с нами фирмы вез нас в город. Сырой туман прижимал к земле дым заводских труб, тоскливо поблескивала портовая автострада, упрямая тоска окутывала сырые стены складов, подъездные пути, весь этот солидный и непривлекательный мир большой торговли. Но хозяин «фольксвагена» не унывал. Он весело напевал, насвистывал, выстукивал на руле джазовые ритмы. В грубошерстном пиджаке и белоснежной нейлоновой рубашке, с зубами киногероя, которые он ежеминутно демонстрировал, сопровождая каждую свою фразу жизнеутверждающей улыбкой, он производил впечатление живой рекламы. «Наша фирма — друг клиента», — казалось, говорил он.

Однако в этом было нечто большее, чем профессиональная привычка. Я улавливал неясный намек, какой-

то тайный смысл его слов. Где-то под спудом нашей взаимной шуточной любезности притаились и его и наши воспоминания. Они несомненно были у него, эти воспоминания, ведь он уже немолод. Я не мог отделаться от ощущения, что он пытается что-то скрыть, словно наши невысказанные мысли наполняли беспокойством окружающую нас действительность.

За таможенной (формальности, связанные с переходом через нее, тоже свелись к доверительным улыбкам и вежливым поклонам) машина на лифте спустилась в темный тоннель, промчалась под Эльбой, и лифт снова поднял нас на поверхность в самом центре шумного торгового района.

— Alles neu erbaut *,— говорил наш гид с деланной небрежностью, кивая на витрины магазинов, фронтоны кинотеатров, пивные — все эти атрибуты большого города, такие самодовольные, будто они существуют уже столетия и будут существовать вечно. Напрасно мы искали взглядом хоть каких-то следов военной драмы. Триста тысяч насильственных смертей — в огне, под обломками домов, в засыпанных бомбоубежищах,— триста тысяч трагедий не оставили даже морщинки на лице жизни. Лет двадцать назад этот город был грудой дымящихся развалин. Неужели я ошибался? Я помнил кадры кинохроники и снимки в иллюстрированных журналах, помнил знакомую картину уничтожения, при виде которой наши кулаки мстительно сжимались, а сердца наполнялись смутной надеждой, что на этих развалинах родится какое-то совершенно новое будущее, очищенное от всякой грязи огнем страданий.

Немец толкнул меня локтем и заговорщически подмигнул:

— Sankt Pauli. Lustiges Viertel. Etwas für Matrosen: Mädel, Schnaps, Tanzbuden...**

Потом он запел:

Eine Seefahrt, die ist lustig,
Eine Seefahrt, die ist schön...***

* Все заново построено (нем.).

** Санкт-Паули. Веселый квартал. Кое-что для моряков: девушки, выпивка, танцзалы (нем.).

*** Путешествовать по морю, как это весело.

Путешествовать по морю, как это прекрасно... (нем.)

Прошлое для него не существовало. Те пожары, те смерти могли случиться на другой планете. Немец бодро поддерживал беседу:

— Ja, Hamburg ist eine lustige Stadt *.

Он высадил нас у огромного универмага, пожелав весело провести время. Смешавшись с оживленной толпой, мы бродили среди штабелей нейлона, джунглей меха, гор хозяйственных товаров, запахов косметики и механизированного царства игрушек. Гудящие эскалаторы проносили нас вверх и вниз сквозь слои благоуханий и волны наэлектризованной эротикой музыки. В кварцевом свете люминесцентных ламп сверкали заученные улыбки юных продавщиц, одетых в изящную оранжевую форму.

Свободные от желаний благодаря своим пустым кошелькам, мы ходили по этому стеклянному зданию, как по музею, где собраны экспонаты современного благополучия. Я начинал прозревать. Здесь был ключ к той таинственной силе, которая снимала вину с прошлого, изгоняла из памяти ужас недавней драмы.

Тяжеловесные здания в центре города успели снова покрыться паутиной. Позеленели барочные шлемы башенок и эркеров ратуши, крутые крыши церквей, казалось, торчали здесь нетронутыми испокон веков. Длинные вереницы автомобилей мокли перед порталами банков, блестящие от дождя зонтики толпились на тротуарах, толкая друг друга. Дождь словно увеличивал энергию толпы. Поглощенные делами люди спешили куда-то с выражением отчаянной решимости в глазах.

На изрешеченной дождевыми каплями глади канала неумоимо тренировались в гребле женские команды какого-то клуба. Толстые ляжки юных Валькирий посинели от холода, мокрые волосы прилипли к щекам. «Eins, zwei! Eins, zwei!» ** — командовали рулевые, и лодки пересекали узкий канал, вспугивая лебедей. Это зрелище чем-то напоминало иллюстрации к старым изданиям Ларусса.

В богатом, шумном, только что заново отстроенном Гамбурге было что-то от XIX века. Я не мог отделаться от этого ощущения, хотя мне было бы трудно объяснить, откуда оно взялось. Быть может, тяжеловесное, лишённое фантазии богатство архитектуры, магазинов, ресторанов

* Да, Гамбург — веселый город (нем.).

** Раз, два! Раз, два! (нем.)

или прошедший нетронутым через все катаклизмы мещанский образ жизни, неуловимо пропитывающий атмосферу, как запах сигар и пива. Солидный немецкий облик «прекрасной эпохи» — не богема, не пелерины декадентов, а старые, расфуфыренные бабы, сплетничающие в кафе, огромные животы фабрикантов, швейцары в ливреях у дверей гостиниц и банков. Стабилизация.

Мы попали в разгар предвыборной кампании — в ее кульминационный момент, когда, если верить газетам, политическая борьба достигла высшего накала. Внешне единственным признаком этой борьбы были расклеенные на стенах домов афиши с портретами Аденауэра и Брандта. Словно в результате какого-то строго соблюдаемого соглашения эти два лица всюду фигурировали вместе, предлагая прохожим свои улыбки; в одной отражалась старческая хитрость, в другой — грубая самоуверенность. К ним никто не прикасался. Только в порту я заметил на одном из плакатов подрисованные усики.

Смеркалось. На мокрые мостовые ложились отблески неоновых огней. Из многочисленных пивных и танцзалов доносились звуки музыки. Мигали световые рекламы кинотеатров. За окнами закусочных люди стоя ели сосиски. Заведения с экзотическими названиями — «Флориды», «Техасы» и «Луксоры» — обещали неповторимые, сенсационные программы стриптизов. Это было нечто вроде плас Пигаль с добавлением немецкой *Gemütlichkeit* *. Пиво, тирольские шляпы, рядом с оголенными телами — баварские национальные костюмы официанток, распеваемые хором сентиментальные песни, вырывающиеся из дверей питейных заведений...

Во всем был какой-то аромат старины, хотя открытый характер этого разврата на службе коммерции знаменовал, должно быть, прогресс по сравнению с ханжеством минувшего столетия.

Недаром с момента прибытия в Гамбург я постоянно ощущал дух Томаса Манна. Аристократический снобизм Будденброков, пресыщенность богатствами, которые накапливались поколениями, и этот страх перед миром, не соблюдающим форм, не умеющим маскировать свои страсти и слабости достаточно «благопристойной» ложью. Я тосковал по изысканным жестам Ганса Касторпа, по

* Здесь: мещанская добропорядочность (нем.).

мещанскому этикету, перенесшему в купеческий мир традиции рыцарской куртуазности. Кое-что от этого все же осталось в воздухе старой Европы.

Когда на следующий день, покидая Гамбург, «Ойцов» приближался к зданию управления порта, на борту поднялась радостная суета.

— Вахтенный, к флагу! — приказал капитан.

— Сейчас будет наш гимн! — сказал Михаил, стоявший рядом со мной на палубе.

Я увидел на суше бело-красный флаг, медленно плывущий к верхушке парадной мачты. В ту же минуту загудел металлический голос громкоговорителя, пожелавший нам — сначала на немецком, а затем на польском языке — попутного ветра и благополучного возвращения в Гамбург.

Михаил толкнул меня локтем:

— Сейчас.

И действительно, с берега грянули звуки мазурки Домбровского *. Флаг опустился, снова поднялся, а «Ойцов» ответил церемонным поклоном флага на корме.



На море правила хорошего тона соблюдаются со всей строгостью. К подчиненным обращаются на «вы» и даже в приказах мелькает вежливое словечко «пожалуйста». Жизнь на борту имеет свои традиции, которые порадовали бы сердце Манна. К ним относится, в частности, утренний обход судна капитаном по воскресеньям.

Первый такой обход состоялся на следующий день после отплытия из Гамбурга. Перед завтраком в мою дверь постучали. Я брлся в ванной. Решив, что это стюард, я с намыленным лицом выглянул оттуда и довольно бесцеремонно крикнул: «Войдите!».

На пороге стояли капитан, первый механик и баталер — все трое в мундирах и форменных фуражках, в черных галстуках, нарядные и торжественные. Они козырнули, и даже Михаил, с которым мы уже были на «ты», держался официально и церемонно. Смущенный, я начал извиняться за свой вид.

— Не обращайтесь на нас внимания, — сказал капитан.

* Польский государственный гимн.— *Прим. пер.*

Он окинул взглядом каюту, а баталер с записной книжкой и карандашом в руках ждал его замечаний. Затем капитан задал мне несколько вопросов. Как я спал? Как себя чувствую? Доволен ли каютой? Не нужно ли чего-нибудь?

Мне ничего не было нужно, и я облегченно вздохнул, когда, снова откозыряв, они ушли.

В дальнейшем я привык к этим воскресным визитам и больше не позволял застичь себя врасплох. Я встречал утренних гостей в подобающем виде, но до конца так и не смог избавиться от некоторого смущения. Установившиеся между нами дружеские отношения переставали существовать в эти минуты. На несколько мгновений дружба уступала место уважению, чувство симпатии — вежливости. И я никогда не пытался нарушить эту традицию. Я знал, что такое периодическое напоминание о судовой иерархии, о правах и обязанностях каждого — не пустая формальность. Не следовало забывать, что может наступить момент, когда от человека, которого мы привыкли называть фамильярно Володей, будет зависеть наша судьба, и тогда будут решать не дружеские отношения, а приказы. Строгая сдержанность капитана во время его воскресных хозяйских осмотров подчеркивала, что дело здесь не только в простой вежливости. И повторяющийся еженедельно ритуал был своего рода необходимой тренировкой. В субботу вечером мы прощались с Володей, а в воскресенье утром встречались с капитаном и беспрекословно подчинялись ему.

Прохладный солнечный день на Северном море подходил к концу. Синие валы с гребнями, украшенными ослепительно белой пеной, мутнели и становились ниже. Мы снова приближались к берегу. Перед Флиссингеном мы долго стояли на рейде и только в сумерки вошли в устье Шельды. А потом опять «по ржи, по ржи». Голландские и бельгийские лоцманы, обходя корабли, идущие нам навстречу, ведут наше судно в Антверпен.



В конце лета и начале ранней осени стояли вялые и унылые дни. То бледное солнце, то мелкий дождик. Ультрасовременные автомашины забили до отказа мостовые старинных улиц Антверпена. Я бродил по городу с удо-

стоверением услужливого стюарда в кармане. Это нарушение закона не вызывало во мне никаких эмоций. Пожалуй, я даже испытывал некоторое злорадство, вспоминая гневную решительность чиновника бельгийского посольства в Варшаве, отказавшего мне в визе. Все равно насладиться Антверпеном в полной мере мне не удавалось. Был понедельник — музеи и картинные галереи закрыты, а на рестораны не хватало денег.

Мне оставалось только любоваться старинными фламандскими домами с островерхими, ступенчатыми крышами, тяжеловесной роскошью северного барокко, легкостью стрельчатых готических башен, вонзающихся в небо над узенькими улочками, и оживленным движением на просторных заросших бульварах, напоминающих бульвары Парижа.

Мещанская солидность Гамбурга была здесь разбавлена французским изяществом. Но, как ни странно, все отклонения от этой буржуазной солидности и «благопристойности» казались не столь резкими.

На улице Рубенса стоит дом Рубенса, весь в барочных выкрутасах. Картуши, урны, балкончики, барельефы, вычурные фигуры. Дом был открыт. Из роскошных, прекрасно сохранившихся комнат давно уже выветрилось живое тепло, и в торжественной тишине пустых залов, мрачных альковов с балдахинами на крученых столбах, среди каминов, резной мебели, зеркал и сверкающего паркета витал лишь дух патетически чувственной хореографии, как тревожное воспоминание о великолепном блефе, бывшем когда-то правдой эпохи. Мастерская, занимавшая целое крыло здания, с галереей на уровне первого этажа, с огромными окнами, смотрящими в сад, полный статуй, беседок и стриженных кустов, была под стать богачу, великому патрицию искусства.

Следующая возможность сойти на берег представилась только к вечеру. Семнадцатилетняя дочь поставщика ван Хулле, она же представитель фирмы, появилась на «Ойцове» с портфелем, полным ценников и накладных. Я встретил ее в каюте Михаила, где она с купеческой деловитостью и девичьим изяществом оформляла сделку по продаже машинных масел. Переговоры велись на польском языке. «Я выучила язык, потому что мы обслуживаем польскую линию», — объяснила она деловито. Вскоре, как будто невзначай, в каюту заглянул первый

электрик и пригласил всех пойти куда-нибудь потанцевать. Юная ван Хулле вежливо отказалась, сославшись на занятость, но предложила подвезти нас на своей машине. Я снова отправился с документами стюарда. Электрик сразу же взял инициативу в свои руки и, хотя и не помнил адреса, указывал дорогу. «Налево, прямо, еще раз налево», — командовал он.

Мы сошли на окраине города, где среди ветхих, низких хибарок торчали угловатые коробки доходных домов, а прохожие (мужчины в шкиперских фуражках и женщины с корзинами овощей и рыбы) напоминали жителей маленького рыбацкого поселка. Электрик уверенно повел нас.

— Приглашаю на хрустящий картофель, — сказал он, толкнув застекленную дверь маленького бара.

Внутри бар напоминал дешевое бистро на одной из парижских окраин. Четыре мраморных столика, музыкальный шкаф, зеркало с рекламой пильзенского пива, а в глубине длинная стойка с кранами и батареями бутылок за стеклом. Хозяйка бара посмотрела на нас, внимательно прищурилась. Затем ее крупные, крепкие зубы сверкнули в приветливой улыбке:

— Bonjour, Mietek. Ça va toujours? *

Это была полная, грудастая женщина с темными усами над верхней губой, густыми черными волосами, спадающими на лоб, и прямым носом греческой богини. Над широким декольте, открывающим атлетические плечи, покачивались продолговатые серьги.

Мы сели за столик у входа.

— Здравствуй, Жоржетта, — сказал электрик. — Хрустящий картофель, comprends? ** Wie immer ***. И пиво. Bier ****.

Жоржетта не торопилась. Она спокойно протирала стаканы, казавшиеся в ее руках необычайно хрупкими.

Напротив нас, у противоположной стенки, трое мужчин шептались о чем-то с видом заговорщиков. Плохо одетые, небритые, с лицами, отекавшими от водки, они были поразительно похожи на завсегдатаев какой-нибудь кооперативной столовой в польской деревне. Один из них,

* Здравствуй, Метек. Все в порядке? (франц.)

** Понимаешь? (франц.)

*** Как всегда (нем.).

**** Пиво (нем.).

толстощекий, с редкими прядями желтых волос, прилипших ко лбу, наблюдал за нами исподтишка бесцветными, бегающими глазками.

У самой стойки, склонясь над кружкой пива, одиноко сидел старичок в потертom синем пиджаке с металлическими пуговицами и в шкиперской фуражке с якорем.

Из музыкального шкафа неслись хриплые звуки песни карнавального хора из «Черного Орфея».

Жоржетта принесла нам пиво и, проходя мимо старика, сказала ему что-то, указав на нас глазами. Старик с трудом поднялся и походкой разохшейся деревянной куклы вышел на улицу. Электрик представил Жоржетте Михаила и меня.

— Стюард? — удивилась она. — А почему ты так хорошо говоришь по-французски?

— Скажи ей, что плавал на французских пассажирских судах, — посоветовал Михаил.

Жоржетта пожала плечами.

— Ah, vous, les Polonais *, с вами никогда ничего не поймешь.

Вернулся старик, прижимая к груди три больших бумажных кулька, и положил их перед каждым из нас. Затем он достал из кармана пакетик из размякшей пергаментной бумаги. В нем была горчица. При этом старик не произнес ни слова и даже не удостоил нас взглядом.

— Ступай, ступай, старый осел, — сказал Метек. — Никто не похитит твою королеву.

— Присматривает за ней, — объяснил он, когда старик вслед за Жоржеттой вернулся в свой угол. — Когда мужа нет, торчит здесь целые дни.

Мужчины у зеркала о чем-то спорили. Собственно, спорили двое, а третий, самый старший, с изможденным лицом чахоточного, прислонил голову к стене и дремал, беспомощно приоткрыв рот, в котором торчало несколько коричневых от никотина зубов. Музыка заглушала голоса спорящих. А стоило ей замолкнуть, как толстяк неуклюже поднялся и бросил в автомат новую монету. «Брижитт Бардо, Бардо...». Он остановился, делая вид, что слушает песенку, и теперь уже не скрываясь, глядел на нас. Затем с расstroганной пьяной улыбкой шагнул к нам, пошатнулся и схватил Михаила за плечо.

* Ah, вы, поляки (франц.).

— Земляки? С польского судна?

Я придвинул ему стул.

— Меня зовут Юзек,— сообщил он, едва ворочая языком и не обращая внимания на мое приглашение.— Очень рад... Я тоже товарищ, моряк. Моторист, черт возьми. Что же это вы, друзья? Так скромно, только пиво...

Михаил полез в карман. Бесцветные глазки Юзека радостно сверкнули, и он, шатаясь, пошел к стойке.

— Жоржетта, amis polonais! * Налей, детка, водочки.

Она вопросительно посмотрела на Михаила, а когда тот кивнул, потянулась за бутылкой.

Юзек вернулся, таща за руку своего упирающегося собутыльника.

— Разрешите представить. Тоже земляк. Шахтер. Мировой парень. Мой шурин.

Шахтер мрачно поздоровался и буркнул:

— Никакой я не шурин.

— Шурин не шурин, о чем разговор! — Юзек махнул рукой.— Хочу жениться на его сестре, но в этом проклятом мире слишком много, так сказать, сложностей.

— Ну, тогда пойдем выпьем,— предложил Михаил.

Они оглянулись на спящего товарища.

— Пусть спит,— решил Юзек.— С него хватит.

Жоржетта наполнила рюмки.

Юзек обратился ко мне:

— Как по-вашему, сколько ему лет?

— Лет шестьдесят.

Юзек толкнул «шурина» в бок и радостно взвизгнул:

— Слышишь, Стасек? Шестьдесят!

— Милый,— повернулся он снова ко мне, — сорок! Ей-богу! Видите, что жизнь делает с человеком? Он тоже поляк, двоюродный брат Стасека. У него было фотоателье в Конго. Пропало все. Слава богу, сам цел остался. Совсем парень захирел от горя.

— Ну, поехали!

— Ваше здоровье!

Шахтер пил молча, без улыбки. Говорил, только когда к нему обращались. Слова произносил с иностранным, твердым акцентом. Юзека развезло еще больше.

— К этому бы свининки! С капустой, с молодой кар-

* Польские друзья (франц.).

тошечкой, черт возьми! Как назывался тот трактир на Свентоянской улице в Гдыне?

Его бегающие глазки остановились на лице электрика.

— Мы где-то встречались, ей-богу!

— Конечно, встречались,— ответил Метек.— Ты плавал на «Марцелии Новотко».

Юзек скорбно вздохнул:

— Я бы вернулся, черт возьми, да уже поздно.

— Дело твое. Вернуться всегда можно.

— А тут вы плаваете? — спросил я.

Он пожал плечами.

— Когда как. Иной раз удастся кого-нибудь заметить. Но это сложно. Здешние профсоюзы гонят чужих, как собак.

— Так почему же вы не возвращаетесь?

Он взял меня под руку, дохнул в лицо винным перегаром:

— Жизнь — такая мерзкая, запутанная штука. Если бы вы знали, как я мучаюсь.— Он еще ближе придвинул свою потную физиономию.— Поверьте, я не от режима бежал. От жены.

— Епсое? * — резко спросила Жоржетта.

Мы подошли к стойке. Теперь мы ставили по очереди. Компания незаметно увеличивалась. Какой-то костлявый моряк в черном джемпере, две низкорослые девицы с простецкими лицами, красными, огрубевшими руками и жирными волосами, уложенными в претенциозные прически. За свободный столик у зеркала, рядом с разорившимся фотографом из Конго, сели два шведа. Опрятные, сияющие розовой, тщательно выбритой кожей, они явно забавлялись, глядя на нас.

— Я из-под Ровно,— говорил мужчина в черном джемпере.— Куда мне возвращаться?

— Люди из ваших краев поселились на западных землях **, — сказал я.

Он посмотрел на меня с неприязнью:

— Ну, а я поселился на еще более западных. Что ж тут такого? Я кого-нибудь предал?

* Еще? (франц.)

** Исконные польские земли, возвращенные Польше в 1945 году после победы над Германией решением Потсдамской конференции.— Прим. пер.

— Не в этом дело. Главное, как вам здесь живется, как вы здесь себя чувствуете.

— Не все ли равно? Работаю на буксирах. А как я могу себя чувствовать здесь или в любом другом месте? Я все потерял. Всех близких и вообще все. Знаете ли вы, что творилось на Волыни? Немцы, УПА *. Сначала я был в партизанах, потом маялся по тюрьмам. От избы одни головешки остались.— Он яростно отодвинул рюмку и обернулся.— А этим что здесь надо? Чего глазуют? Жоржетта схватила его за руку, погрозила пальцем: — Витольд, *laisse donc!* **

Шведы немножко еще посидели, затем незаметно поднялись и ушли.

— Ah, les Polonais,— разозлилась Жоржетта.— Ну что вы за люди? Не умеете веселиться. Вечно воспоминания, вечно претензии ко всему свету. *Soufrir et souffrir* ***, без этого даже водки выпить не можете. А пить вы готовы с утра до ночи.

— За свои деньги,— одернул ее Витольд.

— Это смотря кто.

— Может, я тебе задолжал что-нибудь?

Оба рассердились не на шутку.

— А ты думаешь, передачи в тюрьму ничего не стоили?

— Ты меня передачами попрекаешь? Я тебя не просил.

Метек решил вмешаться. Он не понимал по-французски, но ему было достаточно тона.

— Жоржетта, *tanzen* ****,— он указал на музыкальный шкаф.— *Spielen* *****.

Кто-то бросил монету, и негры снова запели песенку о Брижитт Бардо.

Я пригласил Жоржетту. Она уже успокоилась и снова повеселела.

— Хороший парень,— сказала она.— *Un brave garçon* *****. Но когда выпьет, становится сам не свой.

* Украинская повстанческая армия, основанная в 1942 году,— фашистская националистическая военная организация, действовавшая на оккупированной немцами территории.— *Прим. пер.*

** Оставь (*франц.*).

*** Страдать и страдать (*франц.*).

**** Танцевать (*нем.*).

***** Играть (*нем.*).

***** Хороший парень (*франц.*).

Старик в шкиперской фуражке, по-прежнему сидевший за кружкой пива, не сводил с нас глаз.

— Ваш муж ему платит за то, что он сторожит вас? — спросил я.

Жоржетта засмеялась:

— Нет, это он сам. Когда я закрываю бистро, он стоит на улице, пока у меня в комнате не погаснет свет. Он немой.

— Где вы нашли столько поляков?

Витольд, танцующий рядом с одной из девиц, толкнул меня локтем:

— Спросите у нее, как ее фамилия.

— Как ваша фамилия, Жоржетта?

Она начала хохотать.

— Кх... Хрж...

— Хржановская, — выручил ее электрик. — Она даже выговорить не может. Муж у нее плавает на угольщике вторым механиком.

— Жоржетта Хржановская. Красивая фамилия.

— А ты не стюард.

— Неважно. В данную минуту я стюард.

Она посмотрела на меня с ласковым сожалением:

— А что для вас важно? Ah, les Polonais, ну что вы за люди? Пять лет общаюсь с поляками и никак не могу вас понять.

АНТВЕРПЕН — СУЭЦ

Впереди много дней пути. Остановка будет только в Порт-Саиде. А пока — плывем и плывем. И как тут не вспомнить избитое сравнение (ведь трюизмы обязаны своим успехом именно меткости выраженных в них наблюдений): путешествие — как жизнь. Разница лишь в том, что жизнь — путешествие, из которого не возвращаются.

Мы постепенно выходим из северных холодов и туманов, оставляем позади косые дожди над зелеными водами Ла-Манша, пробиваемся сквозь темно-синие волны Бискайского залива. Ветер становится теплее. Правда, по утрам еще стоит туман, но когда в полдень он рассеивается, то над нами уже не бледное, холодное небо наших краев. Здесь оно так и сияет, радуя глаз своей глубокой синевой.

Утром пятнадцатого мы огибаем мыс Финистерре и берем курс на юг. Море успокаивается и приобретает изумрудный оттенок. За бортом появляются дельфины. Судно мерно покачивается и вибрирует. В огромном машинном отделении работают сотни сложнейших механизмов, вздрагивают стрелки на щитках десятков приборов, в неумолимом ритме — вверх и вниз — движутся поршни, мигают зеленые и красные глазки сигнализации. А в результате всей этой механической магии вращается толстый стальной вал, блестящий стержень которого врезается в железную стенку кормовой переборки.

Мыс Сан-Висенти мы минуем на небольшом расстоянии от берега. Волны с шумом разбиваются у подножия отвесной скалы, увенчанной обелиском маяка и белыми монастырскими стенами. Маленькие весельные лодки снуют вокруг нескольких крохотных катерков. Здесь ловят сардины. Навстречу все чаще попадаются порожние танкеры, идущие с Ближнего Востока.

Гибралтарский пролив проходим ночью. Кинофильм в кают-компании, затем продолжительное бдение в каюте у Михаила и, наконец, уже в постели чтение Корана, который должен помочь мне скоротать время. И все-таки меня одолевает сон. Просыпаюсь только на мгновение, чтобы успеть заметить в иллюминатор красный огонек маяка — то ли из Танжера, то ли из Сеуты. А наутро — яркая, покрытая брызгами пены синь не оставляет сомнений, что мы уже в Средиземном море.

Стрелки часов теперь ежедневно приходится переводить на час вперед. Мне немножко жаль этого времени, хотя здесь его с избытком хватает на все. Его так много, что я явно замедлил темп работы над начатой книгой. Ничто меня не подгоняет, кажется, что все успею, спешить незачем. И все-таки во мне пробуждается иррациональный инстинкт скупца, ощущение, будто я вычеркиваю эти часы из жизни. Утешаюсь мыслью, что верну их на обратном пути.

Восемнадцатого утром выныривают из тумана голубоватые холмы Алжира. Они видны в иллюминатор из каюты и в открытую дверь кают-компании во время наших трапез. А когда я загораю на палубе в шезлонге, то стоит мне оторвать глаза от книги — и передо мной встают их мягкие очертания на краю гладкой, как шелк, морской дали. Они кажутся воплощением покоя и сча-

стья. Лишь радио упорно разрушает эту иллюзию, но и оно рассказывает далеко не всю правду. Ненависть, отчаяние, жестокость, мучения людей, умирающих под пытками,— всего этого отсюда не видно. Небо безоблачно, солнце сияет радостно и невозмутимо. Сытые, беззаботные, окруженные комфортом, мы видим лишь живописные берега. То, что происходит там, кажется абстракцией. В Боне, мимо которого мы как раз проплываем, умирают в эту минуту жертвы террористического налета, совершенного несколько часов назад, и ужас витает над опустевшими улицами. Дальше, в глубине материка, в горах Кабилии и в Катанге люди охотятся друг за другом, убивают друг друга. Где-то в экваториальном буше тлеют обломки самолета Хаммершельда, который разбился сегодня ночью при загадочных обстоятельствах. Эти новости доходят до нас попеременно с рекламой косметики и песенкой «Дети Пирея» и не нарушают ленивого течения нашего времени.

Развалясь в шезлонгах, мы следим за летающими рыбами, любуемся холмами, смотрим на зеленую палубу, которая поднимается и опускается, как грудь погруженного в сон человека, на закрепленные вдоль бортов тракторы. Десяток миль морского пространства отделяет нас от всего происходящего так же, как тысячемильные расстояния на суше или годы и десятилетия. На наш маленький плавучий островок не проникают политические страсти и массовые психозы. Нам не угрожают ни очереди у продовольственного ларька, ни лихорадка агитации, мы не увидим в кинохронике того, что происходит совсем рядом. В четырех стенах наших квартир на суше дыхание большого мира ощущается куда сильнее, чем на бескрайних водных просторах.

Только завтра, близ Бизерты, появится первый признак реальной политической действительности: силуэт заякоренного у входа в бухту французского авианосца, а потом прямо над мачтами с ревом промчится звено реактивных истребителей, которые прилетели с берега, чтобы сделать круг над нашими головами.

Мы обходим скалистый остров с несколькими торчащими, как шипы, горными вершинами. Его очертания были, вероятно, знакомы еще финикийцам. К середине дня суша исчезает. Лишь время от времени мелькнет какой-нибудь маленький одинокий островок. Вблизи Пантеллерии пульс машин начинает слабеть, а потом угасает

совсем. Раздается сигнал тревоги. Мы не спеша надеваем пробковые пояса и собираемся на палубе у шлюпок. Лебедки заедает, и спуск шлюпок на воду продвигается туго. Название «Пантеллерия» мне знакомо по военным сводкам. Никогда не думал, что мне доведется увидеть этот остров. Он сказочно красив. Большая гора с несколькими вершинами, подымающаяся прямо из сверкающего моря, и беленький городок, раскинувшийся у ее подножия.

С кормы бросили спасательный круг, который должен изображать «человека за бортом». Мы садимся в шлюпку и плывем за ним. Грести после ограниченной свободы движения на корабле — подлинное наслаждение. И близость воды тоже доставляет наслаждение.

Теперь любое нарушение обычного ритма жизни — источник радостных эмоций. Стоянка затягивается, так как в машинном отделении решили прочистить фильтры. Легкое покачивание, которого на ходу не ощущаешь, создает атмосферу какой-то торжественной задумчивости. Перегнувшись через перила, я смотрю, как нос «Ойцова» то поднимается, то опускается, образуя на воде пенящиеся завихрения; они движутся и постепенно тонут, искрясь алмазным блеском.

После учебной тревоги прошло несколько дней. Единственным событием за это время было появление на судне горлицы и еще какой-то птички поменьше. Они, должно быть, «взошли на борт» близ Сицилии или Мальты и обосновались на переднем люке. Когда приближаешься к ним, они испуганно взлетают, делают несколько кругов над кораблем и снова опускаются на переднюю палубу.

К вечеру двадцать второго на экране радиолокатора вырисовываются очертания невидимого еще материка. Его первый вестник — нарядный, пестрый удад. Прилетев с востока, он садится на самую верхушку мачты и плывет с нами к берегам Египта.



Я спросил у лодочника, как его зовут. Привязывая корзину из папируса к спущенному с кормы тросу, он поднял смуглое хищное лицо и гортанным голосом ответил: «Абдул». Я втянул корзину на палубу.

Маленькая лодчонка Абдула покачивается внизу на черной воде. Другие спуют вдоль бортов. Торговцы в

длинных белых одеждах, фесках и тюрбанах восклицаниями и выразительными жестами расхваливают свой товар. Некоторым удалось проникнуть на борт по трапу, спущенному для полиции и таможенников. На покрывающем люки брезенте они разложили свои товары — дешевые фигурки сфинксов и верблюдов, открытки с видами пирамид, почтовые марки в целлофановых конвертах и псевдонародные кожаные изделия.

Портовые огни, огни буев и стоящих на якоре кораблей отражаются в воде разноцветными полосами. Воздух, пропитанный запахом рыбы, тяжел и влажен.

В полночь агент повез нас — Мариана, баталера и меня — в город на своей моторке. Мы прогуливались по опустевшим улицам, вдоль спящих домов с темными подъездами и потухшими окнами. Геометрическая планировка широких, прямых улиц усиливала впечатление безжизненности и скуки. Гулко звучали наши шаги и голоса; изредка встречались белые, безликие фигуры.

— Когда-то здесь было совсем не так, — вздыхал агент. — Когда-то Порт-Саид ночью был похож на Париж. Движение, свет, музыка, толпы в ресторанах, кабаре и на улицах. Разве можно это забыть?

— Что же изменилось?

Он вынул руку из кармана и выразительно пошевелил пальцами:

— No money *. Раньше наша фирма получала с каждого судна до трехсот фунтов прибыли. А теперь не более трех.

— Но зато, быть может, теперь лучше живется тем, кто прежде не получал никакой прибыли? — спросил я.

Агент пожал плечами. На его молодом полном лице появилась презрительная улыбка. Он словно говорил: а мне до этого какое дело?

Мы свернули на узкую улочку, где под аркадами робко мерцала единственная неоновая вывеска. Агент долго стучал в запертую дверь.

— Прежде был такой выбор, что вы не знали, на чем остановиться, — продолжал он жаловаться. — А теперь во всем городе открыты два-три кабаре.

* Нет денег (англ.).

Нас пустили неохотно. По грязной лестнице мы поднялись на второй этаж. Узкие коридорчики окружали небольшой зал, обставленный с дешевой претенциозностью. Стилизованные пальмы на стенах, разноцветные бра, официанты в засаленных смокингах и фесках. На маленькой эстраде играл неплохой джаз-оркестр. Народу было немного — несколько американских и скандинавских моряков и два пожилых египтянина в белых хлопчатобумажных костюмах. Несвежие занавески, сырая, с подтеками штукатурка, запах плесени и пыли.

Агент внезапно оживился. Но он зря старался: мы заказали только кофе и кока-колу. И все же атмосфера ночного кабаре, даже такого жалкого, начинала действовать.

— Сейчас вы увидите танец живота, — многообещающе улыбнулся агент.

В зале потух свет. На эстраду, освещенную неярким красным лучом, вышла смуглая босоногая девушка в пышных шароварах, прозрачной вуали, со спускающимся на бедра широким поясом, на котором позванивали колокольчики. Браслеты с колокольчиками обхватывали и ее лодыжки. У девушки была маленькая головка хитрого звереныша, толстые губы и очень широко расставленные блестящие глаза. Ее движения были легкими, а узкие, гибкие плечи казались лишенными костей. Каждый шаг, каждый жест сопровождался металлическим звоном — отрывистым и резким, словно вызванным электрическими разрядами. С необыкновенным чувством ритма и вместе с тем с пренебрежением, какого заслуживал полупустой зал, девушка демонстрировала выработавшееся веками искусство соблазнительницы. Время от времени она останавливалась и небрежно поправляла сползающий пояс, а закончив номер, ушла, даже не взглянув на аплодировавших ей мужчин. Минуту спустя она, уже одетая в красное платье, пила виски с двумя верзилами-американцами за соседним столиком.

Следующим и последним номером программы было выступление коротконогой, пухленькой гречанки с белым от пудры лицом и крашеными рыжими волосами. Грудным голосом искусительницы она пропела песенку «Дети Пирея» и, к нашему величайшему смущению, подседа к нам. Ее поздравил агент, думая сделать нам приятное, но его постигло разочарование. Мы с кислыми лицами заплатили за шампанское, которое певица заказала и выпи-

Ла одна в полном молчании, так как не говорила ни на одном из знакомых нам языков.

Мы уныло возвращались в порт по городу, залитому холодным светом луны и поэтому еще более мертвому.

— Вам следует съездить в Каир, — говорил агент. — Вот там действительно можно поразвлечься.

Ему казалось, что мы только и мечтаем о ночных кабаре, танцовщицах и шампанском, что именно это и составляет цель нашего путешествия.

— Каир — замечательный город, — продолжал он разглагольствовать. — Как Париж. Даже лучше Парижа. Там живут как у вас в Европе.

На пристани мы разыскали свою моторку, привязанную вместе с другими лодками к деревянным мосткам. Босоногий лодочник в грязных полотняных штанах дремал, присев на корточки на берегу.

Когда ветер, смешанный с солеными брызгами, ударил мне в лицо, а в темной дали сверкнули освещенные мачты кораблей, меня вдруг — как это иной раз бывает, с опозданием — удивила моя реакция на слова агента.

«У вас в Европе... Париж» — это показалось вполне естественным, словно Париж был мне доступен в любую минуту. Для агента же все, что разделяло мир по ту сторону моря, не имело существенного значения. И отсюда, с его берега, я тоже начинал смотреть на вещи его глазами.



Еще несколько лет назад у входа в Суэцкий канал возвышался памятник Фердинанду Лессепсу. Сейчас его уже нет. Египтянам невыносим этот символ европейского вмешательства в их историю.

Узенькая водная трасса с прямыми берегами кажется здесь чудом современной техники. По обеим сторонам — плоское голое пространство. Сначала мелькали еще какие-то поля и селения — жалкие, словно недостроенные мазанки из серой глины, шалаши из стеблей кукурузы, крохотные полоски полей, возделанных сохой или просто мотыгой, такой же, какую можно увидеть на росписи древних саркофагов.

Пустыня наступает. Она не кажется ни величественной, ни жуткой. От ее громадного, серо-розового песчано-

го пространства веет унынием и грустью бесполезности. Вдоль канала тянутся шоссе и железная дорога. Иногда промчится легковой автомобиль или автобус, изредка пролетит поезд. Еще один нерв современной жизни в этом запустении. По тропинке вдоль железной дороги бредут маленькие навьюченные ослики; погоняют их женщины в черном.

Мы движемся очень медленно. Навстречу попадают небольшие лодки и баркасы с людьми, одетыми в выцветшие полосатые халаты. На головах у них грязные тюрбаны или бесформенные ермолки. Рулевые на баркасах сидят боком к громадным колесам и лениво поворачивают спицы смуглыми босыми ногами. Несколько воинских палаток на насыпи, старый земснаряд вытаскивает ковши, полные ила. Феллахи грузят ил в корзины и, поставив их на голову, несут вверх по откосу.

Мы везем чальщиков. Их лодки висят над бортом на шлюпочных лебедках. Эти люди, в обязанности которых входит отвезти во время стоянки чал на берег и привязать его, зарабатывают неплохо. Они сидят на корточках на задней палубе, затягиваются поочередно одной папиросой и, бурно жестикулируя, беседуют гортанными голосами. Рядом с ними разложено их имущество — обрывки одеял, свертки со скромными запасами снеди, закопченные консервные банки, в которых они готовят пищу на спиртовке. Когда мы останавливаемся, пропуская встречный караван, они терпеливо ловят рыбу самодельными удочками из обрывков веревки и крючка.

Стоим мы долго. Пропуск двадцати двух судов встречного каравана длится пять часов. Они плывут по другому, незаметному среди песков рукаву канала, и создается впечатление, будто они бредут по пустыне.

В пять часов вечера чальщики споласкивают лица, ладони и ступни водой из своих жестянок, спускаются в лодки и молятся на куске разостланной газеты, повернувшись лицом к востоку. Они касаются лбом палубы, поднимаются и снова опускаются на колени, шевеля губами и воздевая руки. Некоторые совершают этот обряд небрежно и торопливо, но старцы молятся истово и сосредоточенно.

Мы снова двигаемся. Над горизонтом сгущается рыжеватый туман. Ветер становится прохладнее. Справа виднеются красноватые озера с соляными холмиками

на берегах. «Ойцов» выплывает на гладь громадного озера, вдоль берега которого сверкает белизной современных зданий город Исмаилия. Шикарные пляжи, огромные гостиницы, санатории и виллы. По воде мчатся спортивные моторные катера, тихо скользят накрененные паруса яхт. На другой стороне озера высится двойной обелиск памятника солдатам, погибшим в первую мировую войну.

Заходит солнце, огромное и красное. Появляется лимонно-зеленый диск луны. Зажигаются прожекторы на носках кораблей. Их свет тускло отражается в оливковой воде. Впереди снова прямая трасса канала. Утром мы будем в Красном море.

ТРАКТОРЫ ДЛЯ ИОРДАНИИ

Вот мир поистине красочный, как цветной кинофильм. Слева вырисовываются красные горы Синайского полуострова и кобальтовое море, украшенное гребешками ослепительно белой пены.

— В заливе Акаба,— говорил первый механик,— ты увидишь настоящий лунный пейзаж. Именно так я представляю себе луну.

Довольный этим неновым сравнением, он повторял его неустанно. При каждой нашей встрече на палубе снова заходил разговор о луне.

Потом справа вдалеке тоже появились горы, окруженные рыжеватым туманом. Навстречу намплыли скалистые, выжженные солнцем острова, а за ними вырисовывались голые вершины.

У входа в залив, на песчаном берегу, под отвесными терракотовыми скалами стоит маленький одинокий барак. Рядом на мачте развеваются два флага: голубой флаг ООН и красный с синим крестом — норвежский. Это пост вооруженных сил Организации Объединенных Наций, теперь вверенный норвежцам.

Я не знаю, как выглядят лунные пейзажи, но этот домишко, затерявшийся среди бесплодных скал, своей безжизненностью действительно напоминает луну. Кругом — ни кустика, ни деревца, ни травинки. Лишь красные скалы, рыжий песок и море. Солнечный жар льется

сверху безмолвным потоком, мир застыл в какой-то перевозданной неподвижности. Вполне вероятно, что так будет выглядеть в будущем пост космонавтов на одной из далеких планет.

Идем по проливу между едва заметными рифами. Вот торчит из воды темный остов корабля, похожий на громадное насекомое. А дальше горы, теперь уже с обеих сторон,—пылающее обрамление морской трассы. После скучных берегов Суэцкого канала мы не можем налюбоваться их разнообразными, дикими, строгими формами.

Весь день я провел на палубе.

Длина залива Акаба — сто миль. Мы вошли в него при сильном ветре и довольно бурной, быстрой волне. Но во второй половине дня ветер стих. Воцарилась странная тишина, словно горы отгородили нас от всего мира. Несмотря на близость суши, не было видно ни одной птицы. Солнце садилось, и краски становились все более фантастическими. Вершины гор слева покрылись как бы сиренево-голубой вуалью, изрезанные ущельями правобережные хребты зажглись медным заревом. На спокойной поверхности воды играли розовые и серебристые блики, и только у самого борта море отливало яркой синевой. Время от времени над водой взвивались стайки летающих рыб и низко парили на своих радужных крылышках, вычерчивая хвостами на воде тонкие, дрожащие штрихи, или вынырнувшая из воды скользкая спина дельфина описывала круг невыразимо плавным движением. В пространстве, полном тишины, света и застывающих прозрачных красок, каждая деталь приобретала особую выразительность. Наш корабль тоже словно преобразился. Со своей зеленой палубой, закрепленными вдоль бортов оранжевыми тракторами, кремовыми блестящими надстройками — он казался чистым, ярким, сверкающим, как драгоценный камень.

Хотелось бы, чтобы такой миг длился вечно, но и в его мимолетности есть своя прелесть. Я стоял на палубе, пока над потемневшими горами не всплыла круглая луна. Наконец замелькали далекие береговые огни. Справа — рассыпанный низко над водой разноцветный бисер: Акаба. Слева — голубоватые нити люминесцентных ламп, очерчивающие контуры педантичных прямоугольников: израильский Эйлат. И еще несколько ярких точек в глу-

бине, прямо по фарватеру — какое-то селение, не обозначенное на карте.

На экране радиолокатора картина, скрытая пока от наших глаз. Конец залива. Черную воду окружает волнистый желтоватый берег. Мы медленно приближаемся к этому тупику. В рубке — напряженное молчаливое ожидание. Вахтенный сигнальщик стоит наготове с прожектором. В акабском порту всего один причал, к которому может подойти всего один корабль.

Внезапно вспыхивает резкий белый луч и начинает торопливо нам моргать. Мы отвечаем. Так и есть — причал занят, придется до утра стоять на рейде. Лоцман покажет нам, где бросить якорь.

От берега отрывается красная искорка, спустя минуту слышится шум мотора. Повторяется привычная сцена: вахтенный у борта, стекающий по штурм-трапу поток яркого света, внизу — обращенные к нам смуглые лица экипажа лоцманского катера.

Лоцман — полный, добродушный мужчина с курчавыми волосами и оливковой кожей. Он дает указания рулевому, а в свободные минуты без умолку говорит о преимуществах своего положения. Он не только единственный лоцман в Акабе, но также агент, владелец единственной гостиницы и племянник губернатора. В сущности он почти управляет Акабой — единственным портом королевства Иордания.

Перед нами освещенный силуэт какого-то греческого судна, тоже стоящего на рейде. Мы бросаем якорь рядом с ним. Лоцман обещает ввести нас в порт к пяти часам утра.



Ночью мы могли лишь догадываться о близости города, полного восточной прелести. Лоцман, как обещал, приехал в пять утра, и теперь мы стоим у причала. Впереди — недостроенный современный портовый склад, груды мешков с суперфосфатом, покрытые слоем белой пыли, какой-то барак, блестящее алюминиевое нефтехранилище, ограда из проволоки. А за всем этим — красные крутые горные склоны, над которыми дрожат в знойном воздухе клубы ржавой пыли. Наши красивые оранжевые тракторы один за другим отправляются за борт. До-

керы в клетчатых тюрбанах с нетерпением следят за маневрирующей лебедкой и, как только подвешенный в воздухе трактор коснется колесами набережной, бросаются к нему, расталкивая друг друга, и норовят взобраться на сиденье. Победитель пытается включить скорость прежде, чем подъедет электротягач. Он дергает рычаги, жмет на педали, отмахиваясь от болельщиков и непрошенных советов. Время от времени в дело вмешивается один из полицейских, важно прогуливающих вдоль причала в тропических шлемах цвета хаки. Видно, что и блюстителю порядка хочется попытаться счастья, но мешает винтовка и честь мундира. В суматохе борьбы никто не использует опыт предшественников, и при появлении каждого нового трактора повторяется все сначала.

Город между тем продолжает оставаться загадочным миражем. Сквозь красноватую дымку вдаль мерцают белые коробки домов, а у самого берега над плоскими крышами покачиваются пышные шевелюры пальм.

Никто из членов экипажа не торопится сойти на берег. «Зачем? — говорят матросы. — Это захолустная дыра. Деревня». Я отношу это за счет их пресыщенности.

Движение здесь и в самом деле небольшое. В бухте на рейде стоим только мы и греческое судно, с которого теперь сгружают в шлюпки какие-то ящики. И все же порт расширяется. Какая-то западногерманская фирма строит склад. Таможенники и полицейские, которые вернутся у нас на борту, уверяют, что вскоре тут будет большая гавань, краны, доки. Но пока, кажется, вполне хватает одного причала. Тем более что везти грузы в глубь страны можно только на автомашинах по горным ущельям.

Кроме чиновников и полицейских по «Ойцову» снуют мелкие торговцы, предлагающие свой товар. Толстая женщина в черном одеянии, но без паранджи (будто бы христианка из Ливана) разложила свой товар в кают-компани. Она продает арабские тюрбаны, деревянные безделушки, а также четки и молитвенники, освященные в Вифлееме. Валюту заменяют мыло, сигареты и фруктовый сок в банках. В углу, за стулом торговли, набралась уже целая куча этих банок. Матросы говорят, что сок пригоден лишь для чистки дверных ручек. Конкурировать с пепси-колой ему трудно.

Рекламы пепси-колы и американские автомашины. В клубах красноватой пыли мчатся джипы с полицейскими, время от времени проносится яркий хвостатый «понтрак» или «шевроле», везущий какого-нибудь туза, но больше всего грузовиков — новенькие, прямо с конвейера, они стоят на огороженных участках пустыни у дороги.

От порта до города — километра два. Красноватые голые склоны поднимаются по обеим сторонам асфальтированного шоссе — сначала пологие, покрытые гравием уступы, потом крутые обрывы. У их подножия, по краям высушенных расщелин, стоят верблюды и черные безрогие вислоухие козы. Трудно понять, чем питаются эти животные. На рыжем песке не видно ни травинки. Впрочем, если всмотреться повнимательнее в дрожащую от зноя даль, замечаешь кое-где на сожженной земле нечто вроде темной прозрачной паутины. Это редкий кустарник, совсем сухой.

Вдоль шоссе время от времени встречаются лачуги из почерневшей жести, тряпья, старых консервных банок и бочек из-под бензина. Из открытого сарая с тремя стенками (тоже оклеенного рекламами пепси-колы, кока-колы и американских сигарет) слышны звуки радиоприемника. Рыдающий арабский фальцет, сопровождаемый металлическим звоном струн. Мужчины в белых галабиях * и белых или клетчатых тюрбанах сидят на деревянных ящиках вокруг грубо сколоченных столов и играют в домино.

Женщин не видно. Лишь изредка мелькнет между лачугами на склонах гор черный силуэт без лица с кувшином или корзиной на голове.

Приближаемся к городу. Вот строятся три жилых дома — кажется, что их перенесли на эту песчаную целину из какого-нибудь нашего нового городка. Пока эти три дома — вся современная Акаба. Настоящая Акаба, которая чуть дальше обступает шоссе, возраста не имеет.

У нас есть обычно определенные представления о незнакомых вещах, и при встрече мы подсознательно ищем

* Г а л а б и я — национальная арабская одежда, род длиннополого халата.

их подтверждения. Восточный город нам представляется лабиринтом узеньких, извилистых улочек с множеством лестниц, темных переходов под островерхими арками, кишящих пестрой, многоголосой толпой. Он будто весь состоит из вертикалей, и разобраться в нем так же трудно, как в замысловатом узоре. А здесь плоскость. Несколько перпендикулярных друг другу улиц — широких, немощеных и пыльных... Одноэтажные, небрежно покрашенные дома из глины или необожженного кирпича разрушаются постепенно от зноя. В их очертаниях нет и тени художественной фантазии. Это трудно даже назвать архитектурой. Неряшливые кубики домов, соединенные жалкими заборами, производят впечатление недостроенных. Не поймешь: то ли они еще не приняли задуманную форму, то ли уже разрушаются. В качестве строительного материала наряду с кирпичом и глиной здесь использованы и пустые канистры и ржавые железные бочки... Через отверстия под дверьми нечистоты стекают прямо в мелкие арыки. Лавки — это темные клетушки с дверью, открытой на улицу. И снова разочарование: вы ожидаете увидеть темпераментную восточную торговлю, шумную охоту за покупателем, но ничего подобного не находите. Лавочники сидят на корточках под навесами у входа в свои конурки, курят наргиле, беседуют или же дремлют на нарах в глубине лавок.

Мариан пытается вступить в переговоры с торговцем морскими раковинами. За большую красивую раковину он предлагает пачку сигарет. Старик, возлежащий на деревянном топчане, нехотя открывает один глаз и отрицательно мотает головой.

— How much?*

Лавочник зевает и повторяет отрицательный жест.

Напрасно мы пытаемся вызвать в нем интерес к предлагаемой сделке. Мы добиваемся лишь того, что в конце концов он подпирает рукой голову и произносит длинную непонятную речь на арабском языке. Кажется, он просит оставить его в покое.

— Здесь действительно нет ничего интересного, — говорит расстроенный Мариан.

Горячий ветер гонит по улице тучи мусора. Черные вислоухие козы бродят между домами и сосредоточенно

* Сколько? (англ.).

жуют старые газеты. На небольшом участке, совсем рядом с мостовой — кладбище. Один каменный склеп, а вокруг него разрушенные солнцем кирпичные холмики. На краю кладбища седой осел с вытертым от упряжки хребтом дремлет, низко склонив голову.

Медленно бредут словно сошедшие со страниц Библии пастухи. В правой руке — длинный посох, в левой — четки, часто пластмассовые. На нас они не обращают внимания. Их мир, совершенно обособленный, столь отличный от нашего, — для нас закрыт. Но в этом отчуждении мне мерещится что-то знакомое. Возникает такое же чувство неловкости, как и при виде окаменевшей, отрешенной от всего старости. Даже запах города мне знаком. Так пахли в довоенное время некоторые наши местечки. И в них царила та же атмосфера неопределенности, вневременности — атмосфера кочевья.

Израильский Эйлат по ту сторону залива — современный городок, построенный прочно, вопреки прихотям природы, с мыслью о будущем.

Мы спускаемся вниз, к воде. Вдоль берега тянется заметная издали зеленая полоса. Заборы из глины и необожженного желтого кирпича, полуразвалившиеся, сделанные колючей проволокой, делят полосу на маленькие участки. Серые стволы пальм, пыльная, жесткая листва. Из песка торчат унылые стебли каких-то полувысохших насаждений. На каждом участке колодец, а вокруг разбросаны железные банки, канистры и автомобильные покрышки — вероятно, они заменяют садовую мебель. Еще ниже — в прибрежном иле роются смуглые ребятишки, собирая каких-то моллюсков или крабов. А дальше — изумрудное, сверкающее великолепие моря — до окутанных ржавым туманом гор на том берегу.



Мы застали их после обеда в кают-компани за кофе и бутербродами с ветчиной. Один — худой, с нервным лицом, неряшливой черной бородкой и голубыми умными глазами; второй — широкоплечий великан со светлой бородой. Первый — инженер, второй похож на викинга. Оба очень молоды. Викингу не более двадцати лет. На нем потертая рабочая блуза и выгоревшие брюки. Инженер-механик старше, ему можно дать лет двадцать

пять. Оба немцы, но инженер говорит по-польски, правда, с явным акцентом, путая ладежи. Он объяснил нам, что ребенком долго жил в Варшаве.

К сожалению, капитан не мог выполнить их просьбы. Они хотели поехать с нами в Порт-Судан, но у них не было суданских виз. Это рискованно. От таких пассажиров бывает трудно избавиться в течение всего рейса. Итак, дело кончилось простым визитом. Наши гости не торопились и готовы были ждать какого-нибудь арабского парусника, направляющегося к берегам Африки.

Они познакомились только здесь, в Акабе, и уже несколько дней жили вместе в палатке инженера, рядом с полицейским участком.

Путешествовали они по-разному. Инженер был довольно хорошо экипирован. У него был велосипед, палатка, спиртовка и опорные точки на трассе. Он представлял фирму «Нестле» и один велосипедный завод. Он был бродячей рекламой, и местные отделения этих предприятий оказывали ему всяческую помощь.

У викинга не было ничего, кроме закопченного котелка и карты мира. Дорогой он нанимался на работу то кузнецом, то сварщиком. Уже третий год он странствовал (главным образом пешком) по странам Дальнего и Ближнего Востока. Побывал в Непале и Кашмире, Пакистане и Индии, на Цейлоне, в Бирме, Афганистане, Иране и Ираке, Сирии и Иордании. Теперь он собирался в Африку, исполненный решимости пересечь с каким-нибудь караваном Сахару. В Восточном Пакистане он встретил такого же бродягу-поляка.

— Еще годика два поброжу,— говорит он.

— А потом?

Судя по его пренебрежительному жесту и смущенной улыбке, «потом» не обещает быть особенно интересным. Слесарная мастерская в родном городке, женитьба, размеренная жизнь мелкого ремесленника.

Инженер, напротив, радовался скорому возвращению на родину. Ему хотелось повидать еще Египет и Грецию, но им овладела идея усовершенствовать компрессорные двигатели. Кроме того, он интересовался историей. Решил купить башню какого-то разрушенного замка на Рейне, провести там электричество и отопление и устроить историческую библиотеку.

Все зависит от силы воображения, подумал я. Если мы сумеем представить себе течение нашей будущей жизни настолько отчетливо, что оно станет для нас необходимостью, то следовать ему уже особых трудностей не представит.

Мы слишком легко отказываемся от того, о чем мечтали в юности, продолжал я размышлять, глядя на этих оборванных молодцов в пропыленных ботинках, уплетающих с волчьим аппетитом черный хлеб с ветчиной. Потом всегда уже бывает слишком поздно. Даже если судьба улыбнулась тебе и дала каюту с ванной на пароходе, чтобы ты мог возить свою лысеющую голову по далеким портам.

Это была не зависть. После тридцати лет (а тем более после сорока) у вас уже имеется целый комплекс оправданий для всех неиспользованных возможностей.



Разгрузка кончилась, и мы готовились к отплытию. Акаба сверкала в темноте разноцветными огоньками, словно это был настоящий город. Свободные от вахты матросы удили рыбу на корме. По пароходу сновали таможенники и полицейские, нороя под предлогом исполнения служебных обязанностей пропустить стаканчик запрященного Кораном пива. Мы отмечали в каюте первого электрика чьи-то именины или день рождения (трудно представить, сколько именин, дней рождения, различных годовщин празднуется во время рейса!), когда в промежутке между двумя стаканами виски стюард вызвал меня в коридор.

— Какой-то «Махмуд» хочет с вами поговорить. Он ждет в кают-компани.

— Со мной?

— Говорит, с пассажиром.

Заинтригованный, я направился в кают-компанию. «Махмуд» оказался мужчиной лет тридцати, одетым по-европейски. Он сидел за столом, листая один из последних номеров «Панорама севера»*. Длинноносый, с низ-

* «Панорама севера» («Panorama Póiposu») — польский иллюстрированный еженедельник.— *Прим. пер.*

ким лбом и беспокойным взглядом фанатика, он встретил меня улыбкой.

— У вас в стране много таких? — спросил он на ломаном английском языке. Его смуглый палец остановился на снимке длинноногой феи в пляжном костюме, победно демонстрирующей на парапете набережной в Сопоте * свои безукоризненные формы.— Таких short-time girls **,— пояснил он, чтобы у меня не оставалось сомнений.

Я встал на защиту незнакомой красотки.

— Никакая это не short-time girl. Она купается. У нас женщины так одеваются на пляже.

Не думаю, что мне удалось его убедить. Склонившись над снимком, он со злорадной и сладострастной улыбкой водил кончиком пальца по стройным ногам девушки.

Но вдруг он поднял голову и взглянул на меня с выражением строгой сосредоточенности.

— Я хочу сказать. Жизнь в Иордании плохая. Очень, очень грустная.

— Почему? — спросил я, пораженный этой внезапной сменой настроения.

— King Хуссейн, наш король, очень плохой. No good. He not love country. He love jewish and imperialism ***.

Это заявление не произвело на меня должного впечатления. Я даже подумал, что если король Хуссейн питает симпатию к евреям, то он правитель, не лишенный здравого смысла. К сожалению, этому трудно поверить. Иордания отгорожена от Израиля такой же китайской стеной, как и другие арабские страны. Возможно, причиной возмущения моего собеседника были взаимоотношения, установившиеся в Иерусалиме, где необходимый минимум рассудка диктует определенные формы еврейско-арабского сотрудничества в области охраны святых мест — христианских, еврейских и мусульманских, разбросанных по обе стороны проходящей по городу границы.

Мрачный, угрюмый взгляд человека за столом достаточно красноречиво говорил, что всякие возражения бес-

* Сопот — польский курорт на Балтийском побережье.—
Прим. пер.

** Девушек на час (англ.).

*** Нехороший. Он не любит страну. Он любит евреев и империализм (англ.).

полезны. Но я видел, что он на что-то надеется, с напряжением ждет ответа на свои сенсационные сообщения. Моя вежливая, смущенная улыбка явно не удовлетворяла его.

— Как вы думаете? — спросил он наконец. — Что делать?

Я совершенно не чувствовал себя вправе вмешиваться во взаимоотношения между королем Хуссейном и его подданными и беспомощно развел руками.

— Ну, что бы вы сделали? — настаивал мой гость.

— Есть разные способы сопротивления властям, — ответил я уклончиво. — Оппозиция в парламенте...

Он вскочил.

— No parliament in Jordan! *

— Sorry**. Парламент — вещь хорошая.

Я сразу же понял, что совершил ошибку. Огонь, горевший в его глубоко посаженных глазах, не свидетельствовал о восхищении либеральной демократией. Да, парламент — хорошая вещь, но только как оружие свержения Хуссейна. Ведь в этом районе слово «республика» является, как правило, чуть ли не синонимом военной диктатуры.

Я встал; нелепость положения забавляла меня, но вызвала чувство неловкости. Иорданец, однако, не дал мне уйти.

— Это очень просто, — сказал он. — Достаточно пяти тысяч человек — и king Хуссейн... — он выразительно провел рукой по горлу.

Мне оставалось только развести руками, но он загорался все больше.

— Пять тысяч человек я бы нашел, но их надо вооружить. Нужны деньги. Lot of money***.

Говоря это, он с надеждой смотрел на меня.

Втолковывая ему, что я всего лишь скромный турист, у которого долларов едва хватает на такси в портовых городах, я пытался разгадать смысл этого визита. Провокатор? Но какой интерес может представлять для провокатора незнакомый пассажир польского судна? Скорее маньяк. Глядя на него, я не мог отделаться от ощущения,

* В Иордании нет парламента! (англ.).

** Сожалею (англ.).

*** Много денег (англ.).

что передо мной действительность, которой нельзя пренебрегать. Мой гость выглядел бы совсем неплохо в полковничьем мундире. Этот длинный нос, широкие скулы, костлявый подбородок... Я мысленно представил себе его у микрофона, выкрикивающего исполненные ненависти общедоступные лозунги. А вот и заголовки в газетах: «Государственный переворот в Иордании», «Иордания провозглашена республикой», «Израиль мобилизует войска», «Угроза нового конфликта на Ближнем Востоке». Встревоженные дипломаты мчатся на самолетах из столицы в столицу, Организация Объединенных Наций заседает, пишутся резолюции, процветают махинации, растут поставки оружия. Большая политика. Разве этот узколобый фанатик меньше других годится на роль марионетки? Если когда-нибудь он набредет на нужного человека.

Я, если б даже захотел, не смог бы за свои неполных пятьдесят долларов доставить себе это удовольствие. И противник Хуссейна на сей раз ушел ни с чем, получив на память лишь номер «Панорамы севера» и пачку сигарет «Грюнвальд».



Мы снова плывем. Позади остаются желтые и оранжевые бусинки Акабы, лиловые полосы Эйлата и огни поселения в самом конце залива, которое не обозначено еще на карте. Теперь мы знаем, что это лагерь английской съемочной группы, делающей фильм о Лоуренсе, человеке, который, соединив в себе романтическую фантазию с политическим макиавеллизмом, стал повивальной бабкой современного арабского мира.

ХРАНИТЕЛИ МОГИЛЫ ПРОРОКА

Уже сам облик лоцмана говорил о том, что мы приближаемся к сердцу Аравии. Мы взяли его на борт в полдень в открытом море. Суша казалась еще только полоской белесого тумана. Он подплыл на ободранном катере, который обслуживали два черных как смола африканца. Когда он прыгнул с катера к нам на трап,

мы восхищенно переглянулись. Огромный босоногий парень в белой рубахе до пят и тюрбане. Он приветствовал нас улыбкой, неожиданно озарившей его коричневое лицо.

Подступы к порту в Джидде защищены валами коралловых рифов. На них вскипают пузырьки пены, отделяя узкой извилистой полосой темную синь моря от изумрудных отмелей. Путь к берегу сложен и полон ловушек, о чем красноречиво свидетельствуют два ржавых остова разбитых кораблей по обеим сторонам узкого прохода. Нужно хорошо знать дорогу, ибо предупредительные знаки — буи и жерди с привязанными на верхушке тряпками — размещены с беззаботной небрежностью. Только маленькие рыбацьи лодки с отклоненными назад треугольными парусами свободно снуют во все стороны.

Над городом, все еще едва различимым у подножия желтых холмов, описывали круги два сверкающих самолета.

— В сезон паломничества в Мекку, — рассказал капитан, — их здесь полным-полно. Летают, как осы над гнездом. Аэропорт в Джидде становится тогда одним из самых оживленных в мире.

Мекка. Еще дома, до того как отправиться в путь, я с затаенной надеждой измерял на карте расстояние, отделяющее священный город от Джидды.

Я начал спрашивать лоцмана. Что-то настораживающее скользило в его любезной улыбке, когда он отвечал: да, ходят поезда, да, можно обернуться за один день. Я спросил напрямик: сумеем ли мы съездить туда. Лоцман все с той же любезной улыбкой покачал головой:

— I don't think so*.

Наивный простачок, я тогда еще не понимал некоторых принципиальных различий между христианским миром (назовем его так условно) и миром ислама. Мне казалось, что Мекку может посетить любой турист так же, как, например, Рим. Очень скоро я был выведен из заблуждения. Когда мы бросили якорь и на судне появились таможенники и полицейские, рухнула не только мечта о поездке в Мекку — оказалось, что пассажирам вообще нельзя сходить на берег.

* Не думаю (англ.).

Мало того, что опечатали судовой буфет. Каждый из нас заполнил анкету, указывая, сколько спиртного имеется в его личном багаже. Местные власти могли произвести обыск и наложить за нарушение сухого закона колоссальный штраф. Матросов предупредили, что они могут оставаться на берегу только до захода солнца. И нельзя брать с собой фотоаппараты.

До захода солнца... Надо признать, что такая формулировка действует на воображение. Вам сразу ясно, что дело здесь не в распорядке, рассчитанном по часам и минутам. Не часы, а солнце указывает время молитвы, время работы и время отдыха. Ему подчиняются музезии и купец, ему подчиняется проводник каравана, идущего по пустыне.

Между тем к борту «Ойцова» подходили тяжелые железные баржи с буксирами. Начиналась разгрузка. Большинство грузчиков были потомками суданских рабов, захваченных в плен во время вооруженных набегов и привезенных сюда еще в середине прошлого столетия. Теперь они стали верными последователями Мухаммеда, не знающими иного языка, кроме арабского, и давно забыли африканскую родину предков. Но тем не менее они так и остались «плебсом». Руководители «артелей», надсмотрщики — все эти арабы в нарядных белых одеждах, наблюдавшие за разгрузкой с блокнотами в руках и выражением торжественной важности на аристократических лицах, — производили впечатление настоящих рабовладельцев.

Среди матросов почти не нашлось желающих сойти на берег, и я без зазрения совести воспользовался любезностью милейшего пана Кавы, предложившего мне свое судовое удостоверение.

Агент отвез нас на берег. Полицейские, сосредоточенно перебирающие четки у портовых ворот, не обратили внимания на недостаточное сходство моей физиономии с фотографией на документе. Быть может, вообще все европейцы кажутся им на одно лицо.

Огромный «бьюик», в который мы влезли впятером, вместе с нашим стокилограммовым баталером, снаружи выглядел великолепно, но внутри был насквозь пропитан пылью, а обивка была изодрана в клочья. Шофер в белой чалме, отделанной черным шнуром с бахромой, не понимал ни наших слов, ни жестов. Он скалил в снисходи-

тельной улыбке свои великолепные зубы и сломя голову мчался по пустырю, отделяющему порт от города. Все машины, которые мы по пути обгоняли, были такими же большими и были набиты сверх всякой меры. Белые фигуры мужчин, сидящих за рулем, терялись среди черных женских покрывал, из окон высывались курчавые детские головки.

Мы быстро добрались до шумных, оживленных улиц, застроенных современными зданиями. На одном из перекрестков наш водитель резко затормозил и, оторвав руки от руля, потер одну об другую, словно стряхивал с них пыль. Это значило: конец, приехали.

Мы с любопытством осматривали город паломников. Разноцветная штукатурка, сверкающие стекла окон, огромные витрины магазинов, пластмасса и алюминий, керамическая облицовка, яркие балконы, образующие замысловатые разноцветные узоры. Асфальтовые мостовые, шум колес и моторов американских машин разных марок, уже не первой молодости. Усиленная эксплуатация и постоянная перегрузка сделали их похожими на цыганские повозки. Но время от времени проносился сверкающий новизной «крейсер», иногда с чернокожим шофером в ливрее за рулем.

И все же вся эта современная, универсальная цивилизация казалась чуждой, принадлежащей другой эпохе. Белые галабии мужчин, черные, закрывающие лицо покрывала женщин, почти полное отсутствие европейских костюмов создавали какую-то неуловимую атмосферу улицы, какую-то очень существенную особенность, суть которой вы улавливаете не сразу. Лишь спустя некоторое время вы начинаете понимать причину той странной суровости, которой дышит улица, несмотря на оживленное движение и яркие витрины магазинов. Она заключается в строгом разделении полов. В этом знойном городе царит холод. Никакие оттенки нежности не смягчают голоса. Взгляды жестки. Черный и белый цвет соблюдают дистанцию и кажутся враждебными друг другу. Даже если мужчина идет с женщиной, то она отстает от него, держится на некотором расстоянии. Нет сомнений, что это жена. Исключений не бывает. Модница, у которой из-под черного покрывала выглядывают парижские шпильки, держится так же, как босоногая крестьянка с ребенком на бедре. Через стекла витрин мы заглядываем

в шикарные кафе. Здесь, как и в примитивных кабаках Акабы, сидят одни мужчины.

Продвигаясь вместе с толпой, которая по мере удаления от центра становилась все более плотной, мы без труда попали в район старого базара. Он начинался неожиданно, тут же за потоком плывущих по асфальту машин, не отделенный никакой нейтральной зоной от мира американизированной современности. Над переулками внезапно появились деревянные навесы, и город вполз в мрачные коридоры, озаренные разного рода искусственным светом. Одновременно как-то стихли все голоса. Гулкий отзвук шагов превратился в шорох — ноги ступали по утрамбованной земле. Человеческие фигуры, казавшиеся удлинненными благодаря свободным линиям одежды, словно плыли в полумраке от одного светового пятна к другому — белые, полосатые или черные, увенчанные тюрбанами, фесками, яркими шапочками или же корзинами и кувшинами архаической формы. Нас окружало несказанное богатство типажей. Мелькали худые лица с тонко очерченными носами, обрамленные патриархальными бородами; широкие черные лица африканцев с вывернутыми губами; мягкие овалы смуглых левантийских щек. Журчащий гортанный говор перемежался время от времени резкими детскими криками. Крытые, перпендикулярные друг другу улочки образовали как бы самостоятельный город под крышей. Мы продвигались в густой толпе от прилавка к прилавку, пораженные странной двойственностью этого базара, где руки покупателей ворошили груды нейлонового белья, рылись в чешских украшениях для женщин, касались западногерманских магнитофонов и японских заводных игрушек. Товары на прилавках были такие же, как в любом американском или европейском универмаге. Даже индийские шелка и персидские ковры, освещенные люминесцентными лампами, производили впечатление декорации, призванной создать атмосферу восточного базара.

Все, чем торговали эти люди, совершенно не соответствовало их виду, обычаям, пожалуй, даже потребностям. Нас поразили, например, фотомагазины с богатейшим ассортиментом товаров, по всей видимости, процветающие, несмотря на мусульманские предубеждения. Неужели они обслуживают одних туристов? Но ведь в Джидде нет туристов, здесь бывают только паломники.

Пытаясь приобрести открытки с видами города, мы убедились, что можно достать только снимки, сделанные «с птичьего полета». Никаких деталей, никаких крупных планов. Даже эти общие виды являются своеобразной уступкой. Или, быть может, терпимость к торговле фототоварами знаменует собой вырождение исламистского аскетизма?

Мы жадно впитывали новые впечатления, столь путаные и разнообразные, что их трудно даже передать связно. Улица, на которой мы очутились, миновав базар, тоже шла между торговыми рядами. Ряды эти осаждала плотная, топчущаяся на месте толпа, сквозь которую с трудом пробирались маленькие ослы, запряженные в тележки-двуколки. Некоторые ослики были выкрашены розовой краской. Придавленные фигурой вознича, сидящего у самого крупа, они казались совсем крохотными и беззащитными. Время от времени, отчаянно гудя, толпу раздвигали автомашины.

На прилавках сверкали медные сковородки и кастрюли. Кончилось владычество пластмассы и нейлона. Наконец мы увидели настоящий восточный товар. Синие связки чеснока, гирлянды пламенного горького перца; пирамиды глиняных чашек для наргиле. И внезапно, выбравшись из толпы, мы очутились в совершенно другом городе.

Песчаные улочки без тротуаров петляли в тени строгих стен из желтого камня и необожженного кирпича. Над головой эркеры из резных планок сужали полосу неба. В незастекленных окнах — изящные деревянные серые, красные и голубые решетки. Над островерхими воротами замысловатые розетки.

Завороженные, подавленные тишиной, мы все дальше углублялись в лабиринт улиц и неожиданных, как бы случайных, маленьких площадей, на которых резвились курчавые немытые ребятишки и с равнодушным видом прогуливались черные вислоухие козы. Асфальт и витрины современного района по ту сторону базара казались нам отсюда далеким воспоминанием. Здесь все было овеяно грустью отмирания. Что ни шаг — нежилые, покинутые дома, разрушенные стены, кое-как заделанные досками. Видно, что никто и не пытается приостановить процесс старческого распада.

Близилось время захода солнца — момент, до которо-

го нам разрешалось оставаться на берегу. С минаретов доносились зовущие голоса муэззинов. Это было не мелодичное пение, а пронзительные восклицания, похожие на выкрики рассерженных птиц.

Мы торопились отыскать обратный путь. Сквозь открытые двери и окна мечетей виднелись мужчины в белых одеждах, стоявшие босиком на каменных полах просторных залов. На одной из площадей мы наткнулись на огромный навес без стен. Под дощатой крышей высились горы простых деревянных кроватей. Это была, должно быть, временно закрытая «гостиница» для паломников.

День погас внезапно. Замерцали огоньки в бедных лавчонках. Там уже не торговали. Лавочники, присев на корточки на подушках у входа, тихо переговаривались, прихлебывая кофе из маленьких чашечек или потягивая наргиле через трубочки.

Наконец мы нашли крытые переходы базара. Движение и здесь уменьшилось, хотя лавки все еще оставались открытыми. Современная Джидда встретила нас разноцветным сиянием неоновых реклам, теплым светом витрин, гулом моторов и запахом бензина. Мы сели в такси у кино, где, судя по афишам, шел какой-то ковбойский фильм со стрельбой и бешеной гонкой.

В воротах порта полицейские по-прежнему перебирали четки, а из караульного помещения доносилось заунывное пение. В освещенные окна были видны склоненные в молитве головы в чалмах. На голой земле, возле темных портовых складов, укладывались спать белые фигуры.



Знакомый нам уже босоногий лоцман выводил нас за пределы коралловых рифов. Я делился с ним впечатлениями о Джидде. Едва я заговорил о старом городе, лоцман пренебрежительно передернул плечами:

— Это все снесут. Года через два трущобы исчезнут. Джидда станет совсем новой. А fine, modern town*.

Он не понимал моих возражений. Красота? Какая тут красота? Ни кондиционированного воздуха, ни ванн-комнат. Все старое, очень старое. А для него старое

* Красивый современный город (англ.).

значило: неудобное, негигиеничное и, должно быть, бедное. Ничего больше.

Скорбя о своеобразии и красоте, которые обречены безвозвратно исчезнуть, я вместе с тем сознавал, что позиция лощмана более естественна и рациональна, чем моя. Изношенную рубашку выбрасывают и вместо нее надевают новую. Такова обычная норма поведения. Консервация прошлого несовместима с принципом житейской утилитарности.

Характерное для Джидды сосуществование архаических и современных форм быта парадоксально лишь на первый взгляд. Ведь сознательное хранение памятников не имеет ничего общего с консерватизмом.

Является ли Мекка городом-памятником? Нет, Мекка — священный город. А что такое Кааба? Памятник? Нет, реликвия. Вот в чем суть. Формы зданий, их эстетическая ценность, их стиль — дело второстепенное. Так же как для простого христианина второстепенна художественная ценность иконы, перед которой он молится.

Мне кажется, что западная цивилизация стала светской не только в результате технического прогресса, но и из-за заключенных в ней элементов скептицизма и релятивизма. Эти элементы можно обнаружить у самых истоков христианства — уже в Евангелии. Ни Библия, ни Коран не допускают даже мысли о чужой правоте, не предоставляют верующим никакой возможности критического самоанализа. Здесь нет места субъективизму, нравственным сомнениям, беспокойству, заставляющему искать собственные пути. Фанатизм — не что иное, как выражение уверенности в собственном совершенстве.

Я взял с собой в дорогу Коран. Это удивительная книга. Удивительная по масштабам и прочности своего влияния. Не раз я задумывался над тем, что является причиной ее ошеломляющей карьеры. Быть может, заимствования из Библии? Или же натуралистические описания ада и рая, которыми она то пугает, то утешает верующих? Мне часто приходилось слышать восторги по поводу поэтических достоинств текста Корана. Возможно, что в немецком переводе они исчезли, но ведь поэзия — вопрос не только языка. Даже самая красивая метафора ничего не стоит, если она лишена мысли, если в ней нет ничего нового. Поиск вообще не является целью этой книги, которую правильнее было бы назвать «Правом».

Ведь главная тема Корана — суд. Суд, сулящий награду верующим и вечную страшную кару тем, кто отвергает учение пророка. Эта строгая схема вмещает в себя все, в том числе и поэзию. Возможно, что в подлиннике прекрасны описания хрустальных бокалов, которыми спасенные будут черпать из райских рек молоко и вино, или узорчатой парчи, в которую они будут одеваться. Возможно, исполнены грозного пафоса картины ада, где грешники, гремя раскаленными цепями, будут глотать жидкую серу. Но буквализм, детальность этих картин низводят и рай и ад до ранга учреждений какой-нибудь местной системы правосудия. Именно местный, захолустный характер ислама больше всего поражает в сопоставлении с его победной динамикой в определенную историческую эпоху.

В суре 42 говорится: «...мы внушили тебе Коран арабский, чтобы увещал ты мать поселений и тех, кто кругом нее, и увещал о дне собрания, в котором нет сомнения. Часть в раю и часть в аду».

Это — идея избранного народа, еще одно заимствование из Библии. Парадокс становится загадочнее. Какое ограничение привилегии правды! Сначала суженное до масштабов одного племени, чуть ли не одного рода! Ветхозаветные евреи никогда так точно не указывали территориальных границ своего учения. И вместе с тем — хотя их понимание бога было значительно более философским и универсальным — не увлекались прозелитизмом. Почему же именно жители Мекки и окрестностей решили обратить весь мир в свою веру?

Стремление к увеличению числа единомышленников — кандидатов в рай — было, несомненно, связано с ростом пелитических притязаний Мухаммеда. Когда читаешь Коран, это бросается в глаза. Суры раннемекканского периода рассматривают иудаизм и христианство как параллельные, близкие пути к спасению души, а по отношению к язычеству занимают позицию оборонительной изоляции. Лишь после бегства в Медину и в период подготовки к отвоеванию Мекки складывается доктрина «джихада» — священной войны, придавшая исламу его наступательный характер. Миссия завоевания мира должна была неизбежно отождествляться с миссией обращения его в свою веру. Все религиозные победы ислама были одержаны с мечом в руке. Возможно, что именно этим

и объясняется их прочность. Победа при помощи оружия — очень веский аргумент как для победителей, так и для побежденных. Особенно если последние сами потом присоединяются к победному шествию, ибо, согласно Корану, по-настоящему побежден лишь тот, кто отказывается принять правду Мухаммеда. Ненависть к противнику становится добродетелью.

«И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами...» (сура 2).

И вот еще из той же суры:

«И убивайте их, где встретите, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас... Если же они будут сражаться с вами, то убивайте их: таково воздаяние неверных!»

«О те, которые уверовали! Предписано вам возмездие за убитых: свободный — за свободного, и раб — за раба, и женщина — за женщину...»

И говорит Аллах:

«Я — с вами, укрепите тех, которые уверовали! Я брошу в сердца тех, которые не веровали, страх; бейте же их по шеем, бейте их по всем пальцам!» «...ведь Аллах силен в наказании!» (сура 8).

«О пророк! Побуждай верующих к сражению. Если будет среди вас двадцать терпеливых, то они победят две сотни; а если будет среди вас сотня, то они победят тысячу тех, которые не веруют, за то, что они народ не понимающий».

Какова должна быть уверенность в собственной правоте, чтобы предусматривать для противников возражение столь категорическое, как смерть, — причем смерть от руки самого бога! Это и надежная броня против влияния извне — влияния мира неверных. Правда, «джихад» имеет сегодня лишь остаточное и скорее оборонительное значение, но вера в собственную правоту остается по сей день несокрушимым фундаментом. Особенно здесь, в Саудовской Аравии, среди вернейших из верных, среди хранителей Каабы и могилы пророка. Этот фундамент еще долго будет в состоянии успешно сопротивляться расслабляющему влиянию иностранной, скептической мысли и свободных нравов.

Уже в Джидде я начал понимать, сколь легкомысленным было мое желание осмотреть Мекку. Такие места не осматривают. Удовлетворение праздного любопытства здесь равнозначно святотатству. Позднее, во время

нашего дальнейшего путешествия, я слышал много различных историй, которые являлись драматическим подтверждением этого. Например, об американском журнале, которому удалось добраться до Каабы и которого растерзала толпа, когда он попытался незаметно фотографировать. В Басре я встретил поляка, который, прожив несколько лет на Ближнем Востоке и прилично освоив арабский язык, рискнул совершить паломничество в Мекку, разумеется, переодевшись арабом. Он видел собственными глазами, как хранители Каабы разрубили на части старого паломника, который, простояв долго в очереди на солнцепеке, потерял сознание, упал и рвотой осквернил священное место.

С исламом шутить нельзя. Его жизнеспособность и сила заключаются еще и в том, что он руководит культурной жизнью верующих. Исламистский аскетизм был с самого начала направлен не столько против биологических, сколько против эстетических наслаждений. В деле распространения веры он последовательно боролся со всякой потенциальной конкуренцией. Коран запрещает рассказывать какие-либо «легкомысленные» истории, отвергая таким образом любые формы литературы, кроме религиозной. Точно так же он запрещает создавать изображения, считая это кощунственным присвоением божественных привилегий. По тем же причинам им проклят театр. Внутренняя жизнь мусульманина прочно огорожена со всех сторон. Она еще долго сможет оставаться неприкосновенной среди асфальта, автомобилей и холодильников, которые в силу своей практической полезности и полного отсутствия традиции не представляют никакой опасности для не менявшейся веками внутренней жизни людей.



Иностранное судно, которое останавливается в Джидде, платит наряду с другими портовыми пошлинами также традиционный, небольшой впрочем, взнос в пользу правителя Мекки. Капитан так и не смог мне объяснить происхождение этого обычая. Неужели это «джизия» — налог с неверных?

УГОЛОК АФРИКИ

Разные признаки возвещают приближение суши. Вода постепенно меняет цвет — мутнеет, становится зеленой, а затем желтой и илистой. Горизонт затягивается облаками. Ну и, разумеется, птицы. А также паруса рыбацких лодок, такие хрупкие на фоне бескрайнего неба и моря, что, завидев их, хочется спешить к ним на помощь.

На этот раз жаркий ветер донес издалека новый, не морской запах — запах пыли и высушенного навоза. Он долетел до нас, когда никаких признаков земли еще не было видно. Только к вечеру появились на краю горизонта желтоватые тучи, сквозь которые просвечивали бледные очертания холмов. Но прежде чем мы успели их как следует разглядеть — стемнело.

Мы долго стояли на палубе у рубки, наблюдая за вспыхивающими постепенно огнями. Мерцающие глазки буев, суда, проплывающие вдаль. Их мерцание, их появление и исчезновение во мраке создают иллюзию приближения к каким-то зарослям, к каким-то притаившимся в глубине ночи загадочным островам.

Когда мы подошли на расстояние примерно двух миль, навстречу нам вспыхнул белый сигнальный прожектор. Мы переговаривались с берегом сигналами, как всегда на английском языке. Порт после каждого нашего ответа церемонно сигналил: «thank you» *. Подъехал лоцманский катер, экипаж которого составляли матросы с черной кожей в белых одеждах. При свете прожектора лоцман-европеец был рядом с ними болезненно бледным. Но когда он поднялся на палубу, то наши лица в свою очередь показались белоснежными на фоне его коричневого загара. Это был широкоплечий мужчина лет сорока в идеально отутюженных шортах, рубашке с короткими рукавами и белых носках, обтягивающих мускулистые ноги. Этот полуспортивный-полувоенный костюм и самоуверенная осанка выдавали англичанина, типичного колониального англичанина, из тех, кто постоянно чувствует себя «на посту» и каждым своим жестом защищает престиж империи. Мы наблюдали за его маневра-

* Спасибо (англ.).

ми, проплывая мимо освещенных громад судов под разными различными флагами. Поэзия портовых встреч — поэзия названий, которых ты не запомнишь, и мест, которых не увидишь. «М. С. Степной» из Одессы и «Акита-Мару» из Иокогамы, «Индрани Деви» из Мадраса и «Ротенфельс» из Гамбурга. Греческое судно рядом с норвежским, американское — с арабским. Мы стали на рейде, и вскоре на черной глади воды замелькали поплавки матросских удочек.

Лоцман спустился в кают-компанию на чашку кофе. За столом он не казался таким бравым, говорил, что устал, что срок его контракта истекает, а перспективы заключить новый равны нулю. Последние англичане покидают Порт-Судан. Он один из немногих, кто еще не уехал. Управление порта находится уже в руках суданцев. Им трудно, но они предпочитают мучиться, чем держать белых специалистов. Прощаясь, он пожимал нам руки с меланхолической улыбкой: «Когда вы приедете в следующий раз, меня здесь не будет».

Мы знали, что разгружать нас будут докеры-африканцы, которые поют во время работы и отказываются фотографироваться. Мы знали, что в местном Доме моряка есть плавательный бассейн, читальня и стол для игры в пинг-понг. Но мы не знали — а это волновало нас больше всего, — разрешат ли нам сойти на берег. Опыт предыдущих рейсов ничего не значит. Правила меняются чуть ли не каждый месяц. Не только правила. Правительства, режимы, политические симпатии. В этих краях все находится в постоянном движении, словно неостывшая лава.

Пока вместо докеров на борту появились чернокожие полицейские, вооруженные внушительными дубинками. Они выглядели опрятно и живописно в синих гимнастерках и шортах, в черных «ковбойских» шляпах с кокетливо загнутыми полями, в тугих обмотках на ногах. Но смотрели они на нас с подозрением.

Мы все еще стояли на рейде, ожидая, пока освободится место у какого-нибудь причала. Порт неторопливо «изучал» нас. У спущенного над водой трапа сновали моторные катера. На наше судно поднялись агент, таможенники и черный врач под белым зонтом. Он расположился в каюте баталера и вызывал нас всех по очереди к себе с единственной целью — пожать каждому руку.

Город дрожал в знойном мареве. На горизонте маячили рыжеватые горы, окаймленные у подножия серо-зеленой чахлой растительностью. Ближе — свободно разбросаны желтые здания европейского типа. На их фронтонах висят английские надписи. Между зданиями торчат жесткие плюмажи пальм. Все это неподвижное, застывшее от жары. Даже открытые автомобили двигались по приморским скверам и бульварам вяло и как бы нехотя.

Агент — еще один англичанин, в ближайшие дни покидающий Порт-Судан, — остался обедать с нами. Он был хорошо осведомлен и смог объяснить нам наконец наше положение. Власти ничего не имели против того, чтобы мы сошли на берег, но тут возникали некоторые технические осложнения. Нам нельзя было иметь при себе никакой иностранной валюты, а это лишало нас возможности не только передвигаться по суше, но и добраться до нее, поскольку до сих пор никто не мог сказать, когда мы получим место у причала. Мы знали по опыту, что в этих краях деньги можно заменить сигаретами, но тут возникала новая трудность: разрешалось брать с собой не более двадцати сигарет. Этого хватило бы для оплаты проезда на лодке в один конец, к тому же оплаты незаконной, так как лодочники имели право принимать только местные деньги. Агент предупредил нас, что здешняя полиция имеет обыкновение производить личный обыск.

Но в то же время в самом городе в любом банке, не совсем официально, но в неограниченном количестве, можно обменивать доллары и фунты.

Мы спросили, в чем смысл этих противоречивых правил. Англичанин улыбнулся со снисходительной иронией и ничего не ответил. Его явно развлекало наше пристрастие к логическим мотивировкам.

Очевидно, ключ к пониманию этих вопросов был вовсе не в практических расчетах. Вопрос о притоке валюты меньше значит для местных властей, чем удовольствие поставить иностранца в затруднительное положение. Или, быть может, все дело в престиже собственной валюты? Забота о престиже (столь естественная в условиях вновь обретенной независимости) оказывается здесь нередко важнее всех других соображений; ее чувствуешь буквально на каждом шагу.

Лишь одно из многочисленных административных распоряжений, присланных нашему капитану, было издано новым начальником порта, сменившим на этом посту англичанина. Распоряжение это касалось вывешивания во время стоянки суданского государственного флага и предусматривало колоссальные штрафы, если флаг окажется рваным, грязным или нестандартного размера.

В тот же день мы увидели собственными глазами автомашины, которые видел наш капитан во время предыдущего рейса. Они стоят на одном из портовых подъездных путей на пыльных железнодорожных платформах. Стоят уже месяца три. Стекла разбиты, резина разъедена тропическим солнцем. Утиль. История этих, некогда шикарных легковых автомобилей печально проста. После военного переворота новое правительство купило шестьсот машин для государственных деятелей. И вот до сих пор никто не сумел организовать их распределение и доставку на места. Лишь в речах политиков правильные и красивые принципы воплощаются сразу в идеальной форме. В действительности же начало великих исторических процессов куда чаще похоже на печальный гротеск.



К счастью, люди никогда не бывают настолько совершенны, чтобы полностью воплощать в жизнь ими же самими придуманные правила. Чернокожий лодочник у трапа доверчиво взирал на нас, в то время как полицейские ощупывали наши карманы. Когда мы сели в лодку, он лукаво подмигнул, указывая на синие фигуры на борту, и сделал жест, означавший: «Не сейчас». Только когда мы очутились на безопасном расстоянии от «Ойцова», он молча отогнул край грязной тряпки, прикрывающей спрятанный под скамейкой ящичек. Там уже лежало несколько пачек сигарет «Уинстон» и «Кэмел». Мы, так же молча, бросили туда свой протасенный контрабандой взнос.

Экипажи судов, стоявших в порту, коротали время в Доме моряка. Мы были единственными белыми на широких, высохших от зноя улицах, среди окруженных садами зданий фешенебельного квартала. Город был

погружен в дремоту. Только у ребятишек хватало энергии бегать и наполнять веселым гомоном аллеи парка, усаженные пальмами и кедрами. В тени больших деревьев лежали на траве люди в длинных белых рубашках и чалмах или разноцветных шапочках. На черных лицах сверкали глаза с желтоватыми белками. Они провожали нас (до тех пор пока можно было нас видеть не поворачивая головы) ленивым, пустым взглядом. В неподвижном воздухе раздавались птичьи голоса, напоминающие звуки флейты. Огромные птицы с розоватым оперением сидели на ветвях кедров и дремали или чистили перья своими крючковатыми клювами. Время от времени птицы неуклюже взлетали, шурша крыльями, и, описывая круги, поднимались высоко в небо. Глядя на их темные силуэты в ослепительной, солнечной выси, мы гадали, что это за птицы. Коршуны? Но у коршунов голая сморщенная шея. Для орлов они недостаточно благородны и недостаточно дики. Незнание мучило нас не меньше, чем жара. Мы еще острее ощущали свою отчужденность. Наконец, чтобы занять какую-то позицию в столь равнодушном к нам мире, мы пришли к заключению, что это коршуны.

Кстати сказать, отчужденность никогда не бывает полной. Литература старательно ликвидирует белые пятна в нашем опыте, и вы почти всегда можете сравнить свои впечатления с чем-то прочитанным ранее. Вот и я постепенно вспоминал именно такую Африку, такой утопающий в пыли, разомлевший от жары колониальный город с коршунами на крышах и на ветвях деревьев, с лениво развалившимися прямо на земле под палящим солнцем людьми, с появляющимися внезапно из тени фигурами прохожих, которые держатся за руки, как дети. Нам то и дело попадались на тропинках парка такие пары: издали видны только белые рубашки, и лишь потом, в сиянии солнечных бликов возникают задумчивые черные лица, покрытые пылью темные ноги, плоские ступни и соединенные руки. Я с восхищением убеждался в меткости чужих наблюдений. Это были персонажи из романов Грина, это была атмосфера «Сути дела».

За живой изгородью начинался торговый квартал. На тротуары, расположенные несколько выше широких мостовых, падала тень от длинных тентов над низкими

строениями с плоскими крышами. Кое-где под тентами стояли столы и скамейки. Немногочисленные посетители пили кока-колу прямо из бутылок. Выставленный в двух товар, казалось, уже долгие годы ожидает покупателей. Здесь тоже спали сидя, прислонясь к стене или расположившись на расставленных посередине тротуара койках — таких же деревянных нарах с веревочными сетками, какие мы видели в «гостиницах» Джидды. На одной из улиц хозяйничали портные. Они сидели у порога мастерских, каждый со своей машиной, и качали головами в такт движения педалей.

Свернув за угол, мы увидели просторную базарную площадь. Там громоздились мешки, стояли пирамиды корзин, лежали дыни, тыквы и зеленые финики. Рядом сидели на корточках продавцы, бродили черные козы, обнюхивая гниющую на песке кожуру, седые ослики терпеливо отгоняли мух, размахивая хвостами.

Когда мы вынули фотоаппараты, на нас сердито замахали руками. Юноша с продолговатым, арабского типа лицом подошел ко мне вплотную и, гневно сморщив брови, погрозил пальцем.

Слева открывались темные переходы крытого базара. Мы погрузились в сырой, затхлый сумрак, пропитанный запахом зелени. Здесь торговали фруктами. В плоских корзинах лежали гранаты и арахисовые орешки, пыжились огромные арбузы, гроздья фиников облепили гладкие, словно из стеарина сделанные стебли. Над прилавками дрожали тучи мух.

По ту сторону базара были снова тенты и снова улица, идущая вдоль парка. Черно-желтое такси остановилось у края тротуара. В ответ на поощрительный жест водителя мы отрицательно покачали головами. Но он продолжал улыбаться и гортанным голосом выкрикивал по-английски:

— Show you town. Show you country *.

Включив скорость, он медленно ехал рядом с нами.

— No, no **, — защищались мы, помня о скудости наших незаконных средств.

Таксист прибавил скорость, обогнал нас и снова остановился у ближайшего перекрестка, который мы

* Покажу вам город. Покажу вам страну (англ.).

** Нет, нет (англ.).

никак не могли миновать. Его черное, лоснящееся лицо сияло радостью хитрого охотника, сумевшего заманить зверя в ловушку, щеки украшали фиолетовые косые рубцы — по три на каждой щеке.

— Show you country! — и затем неожиданно: — Американо, итальяно, чао-чао, бамбина.

Так мы познакомились с Абдулом. Разумеется, он настоял на своем. С тех пор в течение нескольких дней стоянки в Порт-Судане он был нашим верным товарищем и гидом. Мы сразу же, яростно торгуясь, но не переставая улыбаться, договорились, что за два доллара и две пачки сигарет Абдул покажет нам то, что сам найдет нужным.

В такси было душно, как в железном ящике. Сквозь окна просачивалась мелкая горячая пыль. Асфальт скоро кончился. Мы мчались по пустынной дороге, на обочинах которой время от времени мелькали какие-то сараи и бараки. Но вот слева показались ряды островерхих крыш, напоминавших шапочки гномов. Утром мы видели эти крыши в бинокль с корабля и радовались, что сможем посетить настоящую африканскую деревню. Тогда нас удивила только необыкновенная симметричность застройки. Подъехав к хижинам, мы обнаружили, что они построены из бетона. На верхушке каждой такой пирамидочки торчали чашечки изоляторов, линии проводов бежали по поселку. Хозяйственные постройки были отделены от домов капитальной стеной. Не подлежало сомнению, что перед нами было стандартное государственное строительство. Абдул со свойственным ему рвением подтвердил наши догадки:

— Yes. Government. For workers *.

Когда я высунулся из окна, чтобы сфотографировать поселок, Абдул покосился на меня с явным беспокойством. Нам никто не запрещал носить с собой фотоаппараты, но они не пользовались здесь популярностью. Я в этом еще раз убедился у заправочной бензоколонки, где Абдул с опасением посматривал на возившегося у насоса угрюмого детину в белой феске, на которого я нацелил свой объектив. Лишь когда тот криво улыбнулся, дав мне таким образом разрешение снимать, Абдул успокоился и начал шутить.

* Да. Правительство. Для рабочих (англ.).

Затем мы свернули на большой песчаный пустырь, похожий на городскую свалку. Он был изрезан беспорядочно разбросанными заборами из проволоки и кусков железа или ограждениями, небрежно сложенными из колючих веток. За ними виднелись камышовые шалаши и жалкие лачуги из фанеры или из картона, грязных мешков и рваных циновок. Кое-где росли чахлые, пыльные пальмы, в тени которых лежали горбатые белые коровы.

Мы ехали медленно, спугивая стада коз и объезжая верблюдов, дремлющих посреди дороги. Некоторые из них неловко вскакивали и с жалобным ревом убегали в сторону. Было больно смотреть на неуклюжие прыжки верблюдов: одна нога у них была согнута в колене и подвязана.

Следующим местом, куда нас привез Абдул, была еще одна окраина Порт-Судана или, вернее, большой комплекс селений, называвшийся Нигерийской деревней. Эта деревня делилась как бы на три зоны. Сначала шли деревянные, довольно аккуратные домики с высокими дощатыми заборами. Затем крытые соломой глиняные мазанки, в стенки которых были вделаны кастры — отверстиями наружу. Это получалось очень эффектно — как бы сочетание фантазии современных зодчих с народным творчеством. Третью зону образовывали круглые, похожие на стога, хижины из пальмовых листьев. Здесь у каждого дома был палисадник — маленький, но дающий тень, — за заборами виднелись кроны пальм и кедров.

Застройка Нигерийской деревни, несмотря на свою неоднородность, свидетельствовала о наличии определенного плана. Заборы и группы домов были разделены узкими улочками, кое-где открывались просторные площади. Чувствовалась оседлость. Движение было довольно оживленным. Нам встречались всадники на ослах и верблюдах, женщины в ярких одеждах, сплетничавшие на порогах домов. Иногда попадались и лохматые африканцы, но здесь мы не чувствовали враждебной настроенности. Однако и тут Абдул не разрешил нам выйти из машины с фотоаппаратами. Только на дальней окраине он поддался на наши уговоры. Мы заметили там старинный ворот для подъема воды и захотели сфотографировать его.

Из горячего песка торчали острые одинокие стебли и сухие кусты. Несколько айвовых деревьев и финиковых пальм бросали скудную тень, в которой прятались изнуренные жарой коровы и тяжело дышавший белый худенький ослик.

Земля была изрезана полузасыпанными оросительными канавками. Рядом с покосившейся глиняной мазанкой на деревянной койке спал старичок в чалме. Вероятно, он ухаживал за садом и кормился им. Его борьба с убийственной жарой, очевидно, давала какие-то результаты, раз он позволял себе спать, в то время как солнце терзало растения и животных. Абдул сорвал несколько фиников. Жуя сладко-терпкие плоды, мы бродили по маленькой усадьбе. Заинтересовавшее нас сооружение для подъема воды представляло собой сочетание современной цивилизации и древней техники: куски гофрированного железа, пеньковые канаты, помятые жестянки в качестве ковшей.

К нашей оставленной на дороге машине подошли два верблюда, навьюченные сучьями. На одном из них сидел молодой африканец, в шевелюру которого была воткнута деревянная скребница, напоминающая резную вилку. Мы поспешили к нему. Мариан наводил кинокамеру. Юноша заметил наши маневры. Лихорадочно подгоняя животных, он свернул в кусты. Поскольку он был один, Абдул не испытывал обычного трепета и со смехом указывал нам на мелькающую среди зарослей жертву. Все это походило на облаву. За штабелем срезанного камыша африканец остановился и соскочил с верблюда. Криком и ударами он пытался заставить животных лечь на землю. Когда кинокамера Мариана загудела, он схватил связку камышей и прикрылся ими.

У меня защемило сердце. Я не мог смеяться, как Абдул. Этот жест беспомощной защиты был поистине трогателен.

Я слышал, что в Судане не только ислам восстает против нашего стремления запечатлеть все увиденное на пленке. Здесь распространено поверье, согласно которому сфотографировать — значит украсть душу. Мы были бестактны, невыносимо назойливы, но разве эта жалкая связка камышей могла чему-нибудь помочь?



Только к вечеру третьего дня нас подвезли к причалу и началась разгрузка. До города отсюда было далеко, но до Дома моряка — рукой подать. Мы проводили там вечера, а днем спасались от невыносимой жары в бассейне. Правда, температура воды в нем не опускалась ниже тридцати градусов, но по сравнению с воздухом она казалась прохладной. Бассейн был отделен от моря узкой полоской пляжа, по которому ползали крабы и прогуливались изящные серые цапли с невероятно тонкими ногами. За низкой стеной торчали сохнувшие кокосовые пальмы, а по тенту, дающему тень обнаженным людям, жадно глотающим апельсиновый сок, сновали быстрые ящерицы.

В одном из крыльев здания помещалась часовня, в которой стоял неоготический пульт с раскрытым толстым молитвенником. В ней было так пусто и неуютно, что даже царящая там прохлада никого не привлекала. Рядом находилась читальня. На ее полках мы не нашли ничего, кроме бездарных романов прошлого столетия (очевидно, подаренных после библиотечных «чисток») и комплектов старых английских журналов. Авторами большинства книг были женщины. Мне почему-то показалось, что это очень подходит к характеру места, создает атмосферу как бы благотворительного базара. Я словно слышал доносящийся со стеллажей шепот увядших старых дев. Хозяин этого заведения, низенький пастор в шортах и рубашке с отложным воротничком, был похож на великолепно сохранившийся экземпляр худосочного школьника времен королевы Виктории.

В главном зале стояли два стола для пинг-понга, бильярд и длинный прилавок, за которым восседал молчаливый черный человек с полосатой татуировкой на щеках. Здесь можно было купить холодный апельсиновый сок, почтовые марки и открытки с местными видами. Между дверью и окном висела доска с выражениями благодарности какого-то далекого племени, которому миссионеры методистской церкви оказали помощь во время войны.

Если вы не сидели в воде и не играли в пинг-понг, вам начинало казаться, что вас окутывает как бы паутина необычайно терпеливого и необычайно тактичного

ожидания. Невидимые сети готовились поймать вашу душу. Здесь спасли от голода африканское племя — и здесь же спасают моряков от жары и безнравственных развлечений.

Нет, нас никто не агитировал. Все вокруг дышало благороднейшим желанием бескорыстного служения ближнему, трогательной верой в силу положительного примера. Но часовня была пуста. Она ничем не действовала на воображение.

Мы были менее податливым материалом для миссионеров, чем обитатели глубин материка. Мы приходили купаться и пить прохладительные напитки, а на притаившуюся вокруг бассейна добродетельную скуку смотрели как на не имеющий к нам никакого отношения экспорт нашей цивилизации для африканского буша — как на одну из статей этого экспорта, наряду с огнестрельным оружием, автомашинами и бюрократией.

Греки с криком прыгали с трамплина, долгоязыые шведы добросовестно отработывали запланированные метры кроля, англичане курили трубки, развалясь в шезлонгах под тентом. Зеленое зеркало бассейна сверкало на солнце, кипела пена, а веселые разноязычные окрики неслись над неподвижным, пустынным морем, покинутым рыбачьими челнами, которые между двенадцатью и четырьмя прячутся в порту, так как это время наибольшей активности выходящих на охоту акул.

Между тем на палубе «Ойцова» хозяйничали докеры. Они с утра до поздней ночи орудовали лебедками, шуровали в трюмах. Работали африканцы великолепно — несравненно быстрее и сноровистее, чем арабы. На фоне кранов и машин они выглядели еще более экзотично, чем в своей деревне. Сюда, в порт, они не приносили кривых ножей с деревянными рукоятками, но все равно к ним трудно было относиться, как к обычным докерам. Это воины, думал я, хотя пока так и не сумел получить о них более подробных сведений. С неослабевающим интересом я наблюдал за этими жилистыми, хорошо сложенными мужчинами с острыми носами и хищными чертами лица. У многих были усы, придававшие их черным физиономиям выражение какой-то казачьей удали. Почти у каждого выше локтя или ниже колена был веревочный браслет с амулетами. Они двигались изящно и гор-

деливо, и весь их облик свидетельствовал о сильно развитом чувстве собственного достоинства.

Разумеется, докеры и тут не разрешали себя фотографировать, и один-единственный снимок мне удалось сделать украдкой, через застекленную дверь кают-компании.

Разгрузка продвигалась быстро. Близилось время отъезда. Мы подолгу сидели у плавательного бассейна, зная, что следующая подобная возможность представится не скоро.

Однажды мы видели у самого борта нашего судна стаю маленьких серебристых рыбок, которые мчались низко над водой. Вслед за ними, на большой глубине, словно флотилия эсминцев, неслись огромные черные рыбы с острыми плавниками и хвостами, согнутыми полумесяцем.

Сумерки спускались внезапно. В освещенных штольнях трюма с унылым бормотанием двигались темные лохматые фигуры. Возле спускающейся вниз цепи крана сверкали белки глаз и зубы. Хор голосов все громче повторял свое «эйя, эйя, эйя, эйя», но тела оставались неподвижными. Пение или декламация не были связаны с ритмом их движений. Когда же сидящий на каком-нибудь ящике заправила восклицал фальцетом «кери малаба, кери малаба», все докеры хватались за мешки и укладывали их штабелями, не переставая бормотать и не заботясь о такте. Потом «эйя» почему-то внезапно прекращалось, и весь трюм бормотал «эйябаш, эйябаш, эйябаш», а потом «эйягу, эйягу, эйягу». Когда нагруженная мешками или ящиками сеть поднималась кверху, все снова застывали, и возвращалось замирающее «эйя, эйя, эйя, эйя».

На советском судне «М. С. Степной» мы одолжили копию американского фильма «Война и мир». Показывали его, как всегда, в кают-компании. Мокрые от пота, мы следили за скитаниями Пьера Безухова по заснеженным белорусским лесам. Бороды пленных и конвоиров превратились в сосульки, из сугробов торчали окоченевшие руки трупов, ноги замерзших лошадей. Мечтая хотя бы о малейшем дуновении ветра, я повернулся к открытым дверям и окнам. Во всех проемах торчали черные взлохмаченные головы, едва заметные на фоне тропической ночи. Я заметил их, отведя случайно взгляд от эк-

рана, полного истории, полного зимы и американских киноактеров. И это молчаливое присутствие Африки, таящее в себе неразгаданные мысли, придавало ощущениям неожиданную новизну.

ОБЫКНОВЕННАЯ НЕДЕЛЯ

Описание портов не в состоянии передать атмосферу путешествия. Настоящий вкус этого медленного продвижения по сетке меридианов и параллелей ощущаешь, лишь участвуя в нем непосредственно. Иной раз кажется, что, путешествуя, вы убегаете от времени, которое вас съедает, когда вы сидите на одном месте. Увы! На всех географических широтах ваше время всегда с вами. Неделя в записной книжке кажется маленькой и обыденной, даже если она началась в Порт-Судане и кончилась в Карачи.

3.X.1961

После нескольких дней стоянки трудно привыкнуть к однообразию плавания. Размеренному и упорному продвижению вперед по морю, идеально тихому и одинаковому до самого горизонта, кажется, не будет конца.

Ночью я проснулся с чувством, что еду в спальном вагоне. Толчки машины, легонькое дребезжание стекол, мягкое покачивание — все это поразительно напоминает движение поезда. Да, волнующая новизна моря давно потеряла силу. Даже ныряющие за кормой дельфины уже не производят особого впечатления. Все наши усилия направлены теперь на то, чтобы коротать время и бороться с жарой.

Я читаю биографию Лондона, восхищаясь его неслышанным упорством и трудолюбием. Мой недописанный рассказ застрял на месте. Я боюсь притронуться к нему, зная, что его нужно переделать.

4.X

Баб-эль-Мандебский пролив. По обеим сторонам холмистые острова. Изменился цвет моря. Оно стало серо-

зеленым, гладким, тяжелым, как масло. Небо затянуто пеленой облаков. Все мы липкие от пота, вялые, уставшие. Плыдем к Аравийскому морю. Вчера вечером я немного писал. Сегодня тоже сочинил несколько фраз. Это стоит невероятных усилий.

В четвертом часу прошли мимо Адена. Сейчас пять. Слева еще видны отдельные горные массивы, а в одной из расщелин — белые мачты радиостанции. Самый город кажется горстью белой крупы, рассыпанной у подножия одного из хребтов.

Капитан приказал плотнику соорудить бассейн. Отгородил кусок палубы под окнами моей каюты. Там теперь вода. Я только что провел в ней полчаса. Конечно, за стенкой у меня будет шумновато, но зато в каюте наверняка станет прохладнее.

5.X

Море по-прежнему неподвижно. Нос корабля раздвигает обрамленные пеной блестящие пласты. Слева по борту, на горизонте, мелькают в тумане белесые пятна гор. Я видел кашалота. Море вдруг вздулось, на его поверхности появился темный холмик, и тут же брызнул фонтан воды. Животное, медленно поворачиваясь, показало всю свою черную скользкую длинную спину.

Бассейн перенесли на другой борт. Это капитан позаботился о том, чтобы у меня под окном не очень шумели.

Вчера моя работа как будто сдвинулась с мертвой точки. Сегодня тоже работаете легко.

С утра снова кашалоты: совсем близко и вдалеке фонтаны и тяжело переваливающиеся туши.

Сейчас море покрылось мелкой рябью. С носа дует свежий ветерок. Черные острокрылые птицы проносятся низко над водой.

После ужина я наблюдал за стадом дельфинов. Они перерезали нам путь и понеслись перед самым носом корабля, как быстрые, бело-коричневые торпеды. Постепенно все они, один за другим, отстали и лишь последний, самый крупный, долго не сдавался. Судно почти касалось его хвоста, но он мчался вперед, время от времени мелькая в воздухе красивой дугой. В конце концов он утомился и, свернув с нашего пути, остался позади.

День сегодня хмурый и прохладный. Должно быть, из-за муссоновых туч. Но ветер стих, и море снова гладкое. Оно лишь опять переменяло цвет. Стало желто-зеленым, как вода в Висле. Сейчас, правда, выглянуло солнце и становится жарко.

Вчера вечером мы сидели в шезлонгах на палубе — капитан, первый механик Михаил, Мариан и я. Было темно, звезды между мачтами медленно передвигались в такт движениям корабля. Пена у носа и бортов флуоресцировала, и казалось, что корабль залит зеленым светом.

Капитан рассказывал о том, как трудно подбирать людей для флота. Если раньше на сто двадцать мест в мореходном училище бывало более восьмисот кандидатов, то теперь экзаменационная и медицинская комиссии всячески снижают требования, лишь бы набрать нужное число людей (что, впрочем, им не всегда удается). При быстром росте тоннажа это становится настоящей проблемой. Людям приходится годами работать без отпуска, и в результате участились нервные заболевания.

Капитан полагает, что одна из причин такого отношения к морской профессии — проведенная несколько лет назад кампания в печати, когда моряки изображались мошенниками и контрабандистами, место которым в тюрьме. Возможно, известную роль играет и то, что диплом мореходного училища приравнен всего лишь к аттестату зрелости. Поэтому многие моряки готовят себе путь к отступлению, занимаясь заочно в институтах.

Я лег рано, но долго не мог заснуть, думал о дальнейшем развитии моего рассказа. В окно я видел, как «Ойцов» переговаривается сигналами с каким-то встречным судном. Обычный обмен любезностями, какой происходит между двумя незнакомцами, встретившимися случайно в далекой, пустынной местности.

Меня лично это всегда как-то странно трогает и волнует. Возникает ощущение, словно я вижу забытый, к сожалению, образец правильных отношений между людьми. Благожелательный интерес к ближнему. Кто он, куда направляется, к чему стремится? И постоянная любезная готовность отвечать.

Вчера ночью «Ойцов» принял сигнал SOS от шведского судна, загоревшегося в Персидском заливе. Час назад получено известие, что экипаж покинул объятые пламенем судно, которое дрейфует где-то на нашем курсе.

Написал две страницы. Получилось как будто неплохо.

7.X

Сотни, тысячи летающих рыб. Они вспыхивают за бортом, словно искры, мчатся, бороздя дрожащими полосами неподвижную водную гладь. Одни — совсем маленькие, другие — размером с небольшую форель. Стоя на носу, мы видим под водой целые косяки. Вспугнутые кораблем, они поднимаются в воздух и летят иной раз долго (более ста метров) на распростертых, пурпурно-серебристых крылышках. Есть разные виды таких рыб. С одинарными и двойными крыльями.

Погода по-прежнему идеальная. Пишу с самого утра.

8.X

Вчера в кают-компании состоялся авторский вечер Мариана. Такие мероприятия вызывают во мне всегда чувство глубокого смущения. В занятии литературой есть что-то специфическое. Ты словно присваиваешь себе привилегию наблюдать жизнь из ложи. В сущности это не так, но тебя мучает опасение, что так кажется со стороны. Поэтому, встречаясь с читателями, ты как бы кажешься в проступках, которых, быть может, вовсе не совершал. Это становится особенно ощутимым, когда аудитория состоит из людей, целиком поглощенных практической, осязаемой деятельностью.

У нас с экипажем прекрасные отношения, но когда какое-нибудь обстоятельство напоминает о нашей профессии, зарождается взаимная неловкость. Мы чувствуем себя чужими в их трудовой, жестокой повседневности, они же испытывают некоторое недоверие к людям, зарабатывающим на хлеб «писаниной». Конечно, эта ложная неловкость у обеих сторон надуманна. Во всяком случае, в значительной мере.

Как бы то ни было, ее хватало, чтобы я страшно волновался даже за выступление своего коллеги. Тем более что Мариан отобрал психологические рассказы с довольно вялым сюжетом.

Но я недооценивал моряков. Вечер прошел прекрасно. Много вопросов. Доброжелательная и непринужденная атмосфера.

Потом мы пили виски с капитаном, Михаилом и баталером. Баталер разговорился и рассказывал о цыганах. Говорят, он и сам цыган. Во всяком случае он несомненно знает их среду и нравы. Жизненность традиции этой своеобразной, изолированной общности, сохраняющей в окружении чужой культуры собственное законодательство, собственную социальную иерархию, собственную этику,— очень загадочное явление.

Море сегодня темно-голубое. После нескольких прохладных дней снова жара; работа идет хуже.

То шведское судно называлось «Сарабанда».

Вчера было много буревестников и чайк. Сегодня птиц почти не видно. Только недавно стая диких уток пролетела над кормой и села на воду. Совсем рядом с бортом проплыл огромный уж.

Сейчас пять часов вечера. На горизонте появился берег — голубоватые пологие холмы.

Семь часов. Стоим на рейде Карачи. Уже «перемигнулись» с портом. Лоцман приедет только завтра утром. Я видел за бортом громадную черепаху, убежавшую от нас вглубь.

Вблизи холмы оказались рыжеватыми и голыми. Воздух жаркий, насыщенный влагой.

ГРУСТНОЕ КАРАЧИ

Здесь порт находится в устье реки — одного из многих ответвлений дельты Инда. Бурая вода кажется слишком тяжелой для того, чтобы могли образоваться волны.

Я вышел из кают-компании (мы как раз завтракали), услышав резкие пронзительные крики. В густой, вонючей воде плавали черноволосые мальчишки. Они были в том возрасте, когда человек — весь движение, весь ве-

селье. Ребята ныряли, сверкая маленькими пятками, затем со смехом вновь появлялись на поверхности воды и кричали: «Botelja! Botelja! Empty botties!» *

Из иллюминатора то и дело вылетали пивные и водочные бутылки. Не успевали они коснуться воды, как маленькие пловцы с фырканьем и плеском гнались за ними. Они надевали бутылки на растопыренные пальцы или, набрав в них немного воды, чтобы они держались вертикально, ставили их вверх дном в неподвижную реку и отправлялись за новой добычей. На причале их ждали компаньоны — младшие братья, одетые в грязное тряпье. Они с важностью принимали «товар», с важностью сортировали бутылки по размерам. На железнодорожных путях и возле складов шныряли худые желтые собаки с подлыми, трусливыми глазами. Безжалостный солнечный свет с одинаково суровым равнодушием обнажал и радости жизни и ее печали.

Возвращаясь к себе в каюту, я натолкнулся в коридоре на тощего старика в просторном халате и каракулевой ермолке. Он приближался со стороны трапа, повторяя, как заклинание, какое-то непонятное слово. Увидев меня, он заторопился мне навстречу с радостно распростертыми руками. Я подождал у двери. Старик подошел и низко склонил передо мною свою голову аскетического патриарха. Лицо у него было очень темное, почти фиолетовое, вокруг рта залегли глубокие складки.

— Мозоля,— сказал он.— Мозоля.

Я не понял. Старик осклабился в заискивающей улыбке, показывая красные от бетеля зубы:

— Show me your feet, sir **.

Никогда мне не освоиться с этим Востоком. Вот и на этот раз я поверил было, что услышу какое-нибудь важное сообщение или сумею решить сложную проблему, над которой тщетно бился до моего приезда этот почтенный старец.

Я отрицательно покачал головой и вошел в каюту, но дверь закрыть мне не удалось, так как старик придерживал ее рукой.

— Show me your feet,— повторил он уже без «сэра» и с нетерпеливыми нотками в голосе.

* Бутылка! Бутылка! (итал.). Пустые бутылки! (англ.).

** Покажите мне свои ноги, сэр (англ.)

Я начал объяснять, что у меня нет мозолей и я не нуждаюсь в его услугах. Тогда случилось нечто совершенно непредвиденное. Старик стал на колени, и, прежде чем я успел смутиться, испугаться, расчувствоваться и мало ли что еще — кто его знает, что испытываешь в подобных случаях? — меня охватила обыкновенная злость. Старик бесцеремонно дергал шнурок моего левого полуботинка, пытаюсь просто-напросто стащить его с ноги. Это сразу положило конец всем психологическим переживаниям. Несколько энергичных движений — и дверь за каракулевой шапкой захлопнулась.

Старик, впрочем, не обиделся. Во время стоянки в Карачи я еще не раз встречал его на «Ойцове». Он неизменно приветствовал меня все той же многообещающей улыбкой, низким, но не лишенным достоинства поклоном и соблазнительным заклинанием: «Мозоля, мозоля?». Он не терял надежды. Я видел его и за работой — иногда пациенты все же попадались. «Оперировал» он где придется — в кают-компани, в кубрике, в крытом брезентом трюме. Из кармана длинного халата он доставал пузырек с какой-то жидкостью, лезвие и стеклянную трубочку. Основным инструментом была трубочка. После предварительной обработки мозоли он прикладывал к ней трубочку, второй ее конец брал в рот и сосал, сосал так, что глаза у него мутнели, а кончик орлиного носа белел и дрожал.

У нас приходится за любой услугой выстаивать длинную очередь, а когда вы наконец дождетесь, вас обслуживают нехотя, словно делая одолжение. Здесь наоборот — продавцы услуг вас преследуют, травят. Иной раз приходится отбиваться от них силой.

Устранитель мозолей накинулся на нас первым. Вслед за ним на борт вторглись другие. Среди них были сапожники, продавцы сувениров, валютчики. Был и портной — жирный, опрятно одетый, с лоснящимися от масла иссиня-черными волосами, вьющимися над смуглым лбом. На него тоже не действовали никакие отказы. С сантиметром, перекинутым через плечо, он выжидал у дверей кают, заранее улыбаясь, кланяясь, готовый немедленно взяться за работу. Все делалось в присутствии заказчика: брюки, сорочка, пиджак. А может быть, надо что-нибудь починить? Отутюжить? Опытные моряки учили меня проходить сквозь эти улыбки и поклоны, как сквозь воздух.

Однако овладеть правилами этой игры без привычки было не так легко.

Если б нас интересовали только бытовые услуги, нам незачем было бы сходить на берег. Кто только не приходил к нам на «Ойцов»! Там появился даже угрюмый черный импресарио драматического единоборства мангусты с коброй. Бедная мангуста не обнаруживала никакого желания драться. Ее жалобный визг, когда змея медленно ломала ей ребра и шею, вызывал у зрителей острую жалость. Но, конечно же, мангуста не могла проиграть. Человеческая рука в критический момент выхватывала ее из смертельных объятий. Наконец ей удалось схватить зубами голову змеи.



Карачи. Огромный город со всеми приметам маленького городка. Все здесь кажется чересчур крупным, чересчур разросшимся. Десять лет назад — двести тысяч жителей, сегодня почти два миллиона.

Карачи страдает от избытка населения. Построенный на засыпанном болоте и на бесплодных летучих песках, город, казалось, охвачен каким-то недугом. Люди спят на улицах, попрошайничают.

Первое, что бросается в глаза на улицах города, — дешевая, ярмарочная пестрота. У здешних, весьма своеобразных такси — мотороллеров с пристроенной сзади кабиной — крыши обрамлены вышитыми воланами, украшенными полумесяцами из разноцветных стеклышек. У нас бы это назвали мещанством. Я не знаю, откуда происходят подобного рода украшения. Неужели это ламбрекен «конца века», перенесенный в Азию? Но европейское искусство «конца века» увлекалось также и «восточными мотивами», и теперь трудно установить происхождение украшательского стиля, согласно которому экипажи, вывески магазинов и продающиеся в них изделия отделаны альковной бахромой и разными выкрутасами.

Если существует ярмарочный стиль — а он, должно быть, существует, — то главной чертой его является подделка. Это не народное искусство в буквальном смысле слова, да и вообще не искусство, но это творчество, народное по своей природе. Мне приходилось встречать в наших деревнях столь модных ныне «лубочников», которые

используют в качестве образцов для своих композиций старинные календари. Английская администрация культивировала здесь консервативно-обывательские традиции времен королевы Виктории. Этот эстетический идеал — вкусы тысяч и тысяч чиновников, — слегка овосточенный и упрощенный, жив и поныне. Я понял это, прогуливаясь по городскому парку. Мы приходили сюда несколько раз с Марианом, чтобы осмотреть музей, но попадали не в те дни или не в те часы. Музей помещается в здании из серого камня, построенном в стиле неоготического собора. Напротив, в восьмигранном пруду, стоит фонтан, похожий на верхушку уродливого торта. Амуры, листья аканта, раковины, головки сатиров среди цветочных гирлянд, пеликаны и снова листья аканта — вся приторно-патетическая символика эпохи. А рядом — статуя женщины в просторной одежде со взглядом, устремленным вдаль.

— Queen Victoria? * — спросил я сопровождавшего нас агента.

Он смущенно улыбнулся:

— No. The statue of the maiden **.

Это было любопытно. Статуя святой девы в мусульманской стране? Но стиль не оставлял никаких сомнений.

— Oh, just a lady***, — уклонился от объяснений агент. Наконец он признал, что когда-то это была действительно королева Виктория, но ее немножко изменили. И в самом деле, голова была значительно светлее корпуса.

В такси с оборками, переделанном из мотороллера (в Карачи существуют, конечно, и обыкновенные такси, не говоря уж об извозчиках), мы впервые отправились в город. Широкая торговая магистраль, возле которой мы сошли на каком-то перекрестке, ошеломила нас шумом и многообразием различных видов транспорта. Здесь и прозрачные трамваи без стен, битком набитые людьми в белых рубашках и широких белых штанах, и переполненные автобусы, такси и частные автомобили, ослы, запряженные в тележки, и низкие платформы, которые ленивой, разболтанной рысцой тащат верблюды, непрерывно позванивая бубенцами. Эти верблюды, поднимающие над всем окружающим свои головы с презри-

* Королева Виктория? (англ.)

** Нет. Статуя святой девы (англ.).

*** О, просто дама (англ.).

тельно оттопыренной губой и прищуренными глазами, казалось, вот-вот упадут от усталости и скуки.

Движение в Карачи, как и во всех бывших английских колониях, левостороннее; на жителей европейского континента это неизменно производит впечатление какой-то странной шутки, которая обязательно должна кончиться массовой аварией. Тем более что в Карачи никому, кажется, нет дела до правил уличного движения. Каждый перекресток, каждая встречная машина грозят крушением.

У здания почтамта на тротуаре сидели на корточках писцы с чернильницами и листками бумаги. Плавно показивались прохожие в белых одеждах. Лишь изредка промелькнет цветное сари — в основном женщины здесь тоже в белом. Белый плащ, которым они укрываются с головой, — настоящая портативная тюрьма. В нем есть даже решетка: узкий, затянутый марлей прорез на уровне глаз. Или же два отделанных ажурной строчкой отверстия. Подлинное одеяние ку-клукс-клановцев.

Однако в общем это был еще мир более или менее понятный — с полисменом, размахивающим палкой, с витринами магазинов, зданиями учреждений и троллейбусными остановками. Но стоило нам свернуть с магистрали и пройти один-два квартала — все знакомое кончилось. Там, где мы расстались с таксистом, люди куда-то шли с папками и портфелями; было видно, что они подчиняются определенному порядку организованной жизни. Здесь, в лабиринте заплеваннх бетелем улочек, народ топтался на месте, словно не ощущая течения времени. Когда мы — с фотоаппаратами, болтающимися на животах, — пробирались по этим улицам, толпа вокруг нас росла, и каждая наша остановка превращалась в сценку, за которой наблюдали десятки смуглых лиц. Они смотрели на нас с нескрываемым, хотя и доброжелательным, любопытством, задумчиво или улыбаясь, словно поощряя нас и о чем-то спрашивая. Женщины с неприкрытыми лицами — в этом районе их было значительно больше, чем в более фешенебельных кварталах, — тоже не отказывали себе в удовольствии поглядеть на чужестранцев, лишь прикрывая рты кончиками шалей.

Привыкшие с детства, что каждое движение и каждый шаг должны преследовать определенную цель, мы шли, не зная куда, со все возрастающим смущением. Нам казалось даже, что наша растерянность вызывает сочувствие,

желание помочь нам. В пассивной толпе то и дело вспыхивали робкие проблески инициативы. Курчавый подросток в лохмотьях вертелся около нас, скаля зубы, с надеждой заглядывал нам в глаза и осторожно подталкивал, пытаясь повести нас в том или ином направлении. Мы старались не обращать на него внимания, но самозванный гид продолжал идти рядом с нами, не переставая двигать рукой, словно указывал нам дорогу. Кончалось это тем, что мы или застревали в еще более густой толпе, или упирались в тупик, где под железной колонкой плескались голые ребятишки, а девушки наполняли водой ведра. Мы говорили нашему провожатому, что не нуждаемся в его услугах и просим оставить нас в покое. В ответ он растягивал рот в очаровательной улыбке, прикладывая к губам два пальца с несуществующей сигаретой, или же начинал бормотать просьбу, которую нам следовало предугадать с самого начала: «Me roog, you rich, give me a guinee» *.

К нам приставали, нас осаждали, робко трогали темными ладонями, нас толкали ишаки и верблюды, и мы медленно тонули в этой сумятице. Конечно, мы могли уйти. Мы обладали странной, незаслуженной привилегией смотреть на все это, как на своеобразный спектакль. Меня преследовали мысли и чувства, которые нельзя выразить иначе, кроме как избитыми формулами. Вечно один и тот же соблазн, соединенный с одной и той же дрожью суеверного страха: разоблачить экзотику, пережить ее изнутри. Но как трудно хотя бы описать ее. Например, дома. Невозможно угадать, почему одни дома повернуты к улице фасадом, а другие — торцом или задним фасадом. Почему одно окно украшено нарядной решеткой, а другое зияет пустым отверстием без рамы. Время от времени фасады исчезают за деревянными навесами и сарайчиками, кое-как сколоченными из старых досок. Окна заслоняют рекламы, вход в лавки скрывают шторы. Ваш изумленный взгляд неожиданно останавливается на претенциозной гипсовой урне, венчающей угол ветхого кирпичного дома, а внутри отделанного лепными украшениями подъезда вы обнаруживаете сырой земляной пол вместо паркета. «Не стоит стараться,

* Я беден, вы богаты, дайте мне рупию (англ.).

не стоит стараться,— словно говорят дома.— Нужно лишь дотянуть до конца этого знойного дня».

Конечно, это не весь Карачи. Потом мы увидели и квартиры роскошных особняков, и широкие тенистые бульвары, и приморские набережные.

Но я предпочитал переулки базаров. Среди напыщенных зданий, рядом с витринами элегантных кафе, покрытые бетельной сыпью тротуары кажутся еще грязнее, а бродячие хироманты и астрологи, сидящие на корточках у стен современных зданий со своими картами и вывесками с изображением черной, исчерченной белыми линиями ладони вносят в атмосферу этих кварталов какую-то нотку иронии

В ярмарочном стиле выдержаны и рекламы дантистов. Розовые, изящные рты, полные зубов, скалятся один за другим вдоль целых улиц, ибо в Карачи, как в средневековых городах Европы, ремесла и профессии сосредоточены по районам. На более богатых улицах у зубных врачей есть кабинеты — правда, они напоминают скорее лавочки или мастерские, но все же это специальные помещения. На улицах поскромнее дантисты сидят прямо на тротуарах. Там кроме улыбающегося рта приманкой для пациентов служат зубы, разложенные на земле на платочке. Не нужны ни кресла, ни сложные машины. Пациент садится на корточки перед цирюльником и вверяет себя его опытным рукам. Впрочем, в Карачи мы видели и вполне современную больницу, где нашему боцману вскрывали нарыв в ухе.

Заботливый агент повез нас на пляж. Береговой откос окружают претенциозные, украшенные колоннами и балясинами навесы и павильоны из красного песчаника. Широкие лестницы и террасы спускаются к стриженным газонам и цветущим кустарникам. Но уже через несколько десятков шагов исчезают зеленые насаждения, и лестница утопает в разрытом песке, на дорожках полно мусора, и все расплзается в грязи и беспорядке городской окраины. Выдвинутый далеко в море мостик для прогулок, задуманный, должно быть, как главная, центральная часть парка, устремляется к каменной беседке, где сидят торговцы бетелем.

Самый пляж — это серый, как графит, ил, ряды топорных столов и стульев, ларьки. Купание заменяют медленные прогулки вдоль берега, где вода достает до

щиколоток. Ватаги ребятишек под присмотром матерей в паранджах и отцов в просторных одеждах предаются этому развлечению, сняв одни лишь сандалии. Здесь можно также сфотографироваться верхом на верблюде, можно, внося плату — одну рупию или пачку сигарет, — посмотреть выступление дрессированной обезьянки на тротуаре под тентом. Хозяин обезьянки ударяет в бубен (ритм отбивается с помощью ремешков с оловянными шариками на концах) и отдает команды на английском языке. Обезьянка изображает солдата. Она целится из крохотной винтовки, вышагивает, как английский солдат, прищипывает, как гвардеец у Букингемского дворца. Потом она превращается в изнеженного лорда. Идет с палкой, прихрамывая, еле волооча разбитые подагрой ноги, отряхивает ботинки, будто плитки тротуара внушают ей бесконечное отвращение. Следующий приказ — и перед нами уже изящная леди танцует вальс. В руке дрессировщика небрежно подрагивает готовый к вмешательству кнутик, но зверек великолепно вошел в роль, и у зрителей создается впечатление, что он исполняет ее, полностью осознав заключенную в ней иронию.



Пакистанские работники Представительства польских пароходных линий и польского торгпредства, здороваясь с нами, поднимались со своих мест. Лица у них были как у прилежных школьников — исполненные уважения и застенчиво-серьезные. На такие приветствия не знаешь, как отвечать. Даже самая приветливая улыбка приобретает покровительственный оттенок.

— Здесь так принято, — успокаивал нас торгпред. — Не обращайтесь внимания.

Прием, устроенный торгпредом по случаю открытия польского клуба, был похож на традиционный garden party*. Та же атмосфера тщательно отработанной непринужденности, те же разговоры ни о чем. Мужчины в белых рубашках с галстуками, женщины, увешанные драгоценностями, отутюженные и прилизанные ребятишки, осторожно забавлявшиеся с собакой на стриженном газоне, усатый бой в белой ливрее, разносивший коктей-

* Прием в саду (англ.).

ли. Разговаривали о погоде и о прислуге. «Наш повар», «наш шофер». Хозяйка дома, милая, гостеприимная варшавянка, подчеркивала с кокетливым смущением, что никогда не кричит на этих людей, хоть они и привыкли к строгому обращению.

Однако как только гости перешли с газона под крышу, переключившись с джина и соленых орешков на отечественную водку и консервированную ветчину, разговор завертелся вокруг чисто польских проблем — к сожалению, столь типичных, что нам показалось на мгновение, будто мы попали в один из отделов Министерства внутренней торговли, очутившийся случайно под небом далекой Азии.

Торгпред — человек инициативный и энергичный — в ответ на наши вопросы о развитии польско-пакистанских торговых отношений беспомощно разводил руками и сердито кусал губы. Он с завистью указывал на чехов — вот кто умеет вести дела в Карачи. Да, чехи знают, как взяться за дело, умеют рисковать в случае необходимости. Они устраивают здешним коммерсантам бесплатные поездки на ярмарку в Брно, а членам пакистанских кооперативов — в Чехословакию для ознакомления с сельскохозяйственной техникой. Не колеблясь, выплачивают комиссионные (здесь это традиционное вступление к любой сделке, обязательная форма коммерческого хорошего тона).

Наши же руководящие инстанции не хотят ничего знать об обычаях контрагента, не хотят отступить ни на шаг от своих привычек. Напрасно торгпред пытался выхлопотать два билета на Познанскую ярмарку для представителей Торговой палаты в Карачи. Его спрашивали: «А кто будет платить?» На большее фантазии чиновников не хватало. Таким же образом была подавлена инициатива в области экспорта наших оптических приборов, которые, по мнению торгпреда, имели большие шансы завоевать пакистанский рынок.

Казалось бы, поляков нельзя упрекнуть в отсутствии самокритичности. И все же, когда дело доходит до конкретных мероприятий, все решает абстрактная рутинная канцелярская бумажек.

Мы все же странная нация. Встречаясь со своими соотечественниками за границей, я не перестаю удивляться. Колоссальная легкость приспособления к новым

условиям в сочетании с провинциальным консерватизмом. Поверхностный снобизм и одновременно глубокая привязанность к собственным традициям.

Открытие клуба было организовано на англо-польский лад и прошло в шутливо-приподнятом настроении. Небольшую речь (вот поистине благотворный результат чужих влияний) кокетливо произнесла самая красивая из дам, затем мы сели пить кофе под аккомпанемент музыки Шопена в магнитофонной записи. Кроме нас, приехавших из Польши, и сотрудников нашего представительства тут были также поляки-эмигранты: Карл Круткий с семьей.

С Крутким встречались многие поляки, путешествовавшие по странам Азии и Африки. Он принадлежит к среднему поколению, к людям, которых война забросила за пределы родины. Карл Круткий по профессии — статистик, а по призванию — этнограф. В качестве сотрудника Фордовского фонда он изучает проблемы народонаселения Ближнего и Дальнего Востока, арабских стран и Бирмы. В Карачи Круткий приехал из Судана, где в течение семи лет был научным консультантом национального правительства.

В тот вечер он позвал нас с Марианом к себе. Мы провели у него остаток ночи, рассматривая чрезвычайно интересные снимки, сделанные в разных странах мира, и слушая увлекательнейшие рассказы об африканском буше, о нравах кочевников пустыни на Аравийском полуострове, об охоте на слонов в джунглях Бирмы. В тишине спящего дома, на застекленной, тускло освещенной веранде, похожей на прозрачный шатер во мраке тропического сада (в тот день садовник убил на дорожке кобру), мы беседовали как люди, для которых слова имеют одинаковые, с детства знакомые оттенки, а восприятия сформировались на всю жизнь в общей атмосфере юности.

И все же на приеме у торгпреда, несмотря на атмосферу гостеприимства и непринужденности, наша польская национальная принадлежность была чем-то вроде профессии, а романтические шопеновские аккорды веяли над нашими головами, как праздничные знамена. В этой обстановке каждая ступень отдаления от землячества ощущалась с особенной остротой — можно было прямо измерить дистанцию. Дистанция эта чувствова-

лась даже среди детей — может быть потому, что оба сына Крутого говорили по-польски уже с трудом, как на иностранном языке.

Когда смолкли прелюдии и мазурки, одному из работников торгпредства пришлось в голову записать на пленку вокальные выступления малышей. Ребята стеснялись, родители их подталкивали, уговаривали. В конце концов один шестилетний мальчишка встал у микрофона и дрожащим голосом, проглатывая каждое третье слово, пропел песенку «Лето, лето, я дам тебе розу». Теперь уже в желающих выступить не было недостатка. Малыши один за другим развлекали умиленных слушателей популярными песенками из репертуара польского радио.



Недавно Карачи перестал быть столицей. Ее временно перенесли в Равальпинди. В этом районе планируется строительство новой столицы, которая будет называться Исламабад.

Бедный, грустный Карачи! Не нужно углубляться в историю, чтобы понять его характер. Вывески с арабскими, индийскими и английскими надписями. Бородатый нищий в жутких лохмотьях останавливает прохожих у витрины шикарного магазина с американскими товарами и молча поднимает палец к небу. Стража у ворот какого-то государственного учреждения меняется с церемониальным притопыванием, напоминая английских гвардейцев.

Но тем не менее никакие логические обоснования не могут скрыть от глаз иностранца вопиющих фактов. Когда он видит дворец главы секты исмаилитов Ага-хана, еще разительнее кажется ему нищета народа Карачи. Если же он проявит хоть немного любознательности, то без труда узнает, что средний доход семьи в городе — разумеется, трудовой семьи — составляет сто пятнадцать рупий, то есть около пятнадцати долларов в месяц. А ведь мусульманские семьи очень многочисленны!

Истинное удовольствие доставила мне вечером накануне отъезда беседа с докером, пожилым, опрятным парсом в черной шапочке.

Закончилась погрузка риса для Басры. Вооруженные стальными крюками докеры покидали судно. Мы сидели в шезлонгах, наслаждаясь прохладой после знойного дня. Легкий ветерок разгонял портовые запахи. Мы потягивали вино, замороженное в холодильнике, и мысленно прощались с Карачи. Докер рассказывал нам о Бомбее, где он вырос и где живет большинство его единоверцев — потомков последователей Зороастра, бежавших из Персии тринадцать столетий назад и сохранивших по сей день забытую уже на прежней родине веру. Узнав, что я слышал кое-что о непрерывной борьбе доброго духа Ормузда со злым Ариманом и что мне знакомо происхождение его секты, докер был изумлен и восхищен. Представитель маленькой обособленной общины, он не ожидал от чужестранца ничего, кроме вежливого любопытства. Теперь волнение заставило его подняться на ноги. Он вскочил с шезлонга, расстегнул рубашку на животе и продемонстрировал нам ритуальный жилет, который надевают на голое тело, и священный шнур, который обычно скрывают от глаз непосвященных. Он с воодушевлением показал нам, как каждый вечер трижды встряхивает шнур, отгоняя дьявола, а утром завязывает на нем три узелка, повторяя: «Добрая мысль, доброе слово, доброе дело». Очевидно, этот ритуал дает положительные результаты — парсы пользуются испокон веков репутацией мягких, честных и добрых людей.

ПО СЛЕДАМ СИНДБАДА МОРЕХОДА

Грязь, налипшая на наш пароход во время стоянки, теперь стекает в море. Шумят шланги, скребут швабры. Толстый боцман, обнаженный, как борец, лоснящийся от пота, с пиратским красным платком, повязанным на голове, рисует водяной струей на палубе замысловатые узоры. Как ребенок, увлеченный своим занятием, он высунул кончик языка и шевелит им.

Во время долгих переходов, вдали от суши, пароход кажется опустевшим. По целым часам на палубе не видно ни души. Зато сразу по выходе из порта на всех па-

лубах суетятся занятые уборкой матросы. В их возне чувствуется радостное облегчение. Я тоже испытываю его. Каждый порт, хотя и желанный, приносит разочарование. Он встречает вас обещаниями, которых не в состоянии выполнить, манит прелестью новизны, понять и пережить которую у вас не хватает времени, опустошает матросские карманы, дразнит напоминанием о родном доме. В порту вы постоянно ощущаете близость неизведанных просторов страны, в которых скрыта ее, чуждая вам, правда. Каждый твердит: «Вам следует съездить туда-то, повидать то-то, познакомиться с тем-то». Вы двигаетесь, как на слишком короткой привязи, все время испытывая чувство неудовлетворенности. Поэтому — здравствуй, покой моря! Здравствуйте, знакомые привычки и занятия, размеренные часы еды и отдыха, надежность общения с людьми, говорящими на родном языке.

Мы плывем на запад вдоль побережья Пакистана. Дул сильный встречный бриз, и наше судно плясало на невысоких волнах. Ночью море успокоилось, и с тех пор мы плывем по неподвижной, сверкающей глади. Вода становится все зеленее, все гуще от бесчисленных живых существ. Нас сопровождают быстрые тени дельфинов; к их острым плавникам, высовывающимся из воды у самого борта, мы давно уже привыкли. Точно так же мы перестали восхищаться каждым замеченным кашалотом. Это мы, люди, представляем собой здесь редкие зоологические экземпляры. Рыбой море тут буквально кишит. Одни прыгают целыми косяками, вспенивая воду, будто танцуя. Другие, помельче, вспыхивают внезапно снопами вспугнутых искр, вероятно, уходя от какого-нибудь хищника.

Назавтра в полдень нам пересек дорогу трехмачтовый парусник с черными, просмоленными бортами. На его корме, напоминающей корму старинных галеонов, белело название порта: «Бампур». Мы смотрели сверху на палубу парусника, словно выхваченного из сказки о Синдбаде Мореходе. Коричневые люди с головами, закутанными в белые тряпки, махали нам руками — без тени удивления, хотя наша встреча казалась встречей двух эпох. Мы видели разбросанные среди бочек и трюсов циновки и жестянки, заменяющие матросам столы и посуду. Да, у моряков из Бампура не было комфорта.

Но зато они прекрасно разбирались в звездах, ветрах и течениях этих морей. Они плавали так же, как плавали с незапамятных времен их отцы и деды.

Итак, мы плывем в Басру, в древнюю Бассору, откуда Синдбад Мореход отправлялся в свои полные приключений путешествия. Неважно, что никакого Синдбада в действительности не существовало, что даже его имя — всего лишь результат фонетической ошибки. Ведь это же Синддхипати из древних индийских сказок, великий маг и волшебник, известный в персидском фольклоре под именем Бидпаи, а в древнееврейском — под именем Синдбар, которого арабы превратили в Синдбада, почти поверив в его подлинность. Какое это имеет значение, раз и по сей день встречаются суда, на которых мог бы плавать Синдбад, если бы он действительно жил на заре средневековья? Правда, тогда Бассора была расположена на побережье. Теперь же, чтобы до нее добраться, нам пришлось бы пройти километров сто в глубь материка, вверх по течению Шатт-эль-Араба. Когда я думаю об этом, геологическое и историческое время удивительным образом соединяется и у меня возникает ощущение бешеной скорости перемен — мне кажется, что море отступает внезапно, прямо на моих глазах.

А пока мы приближаемся к Ормузскому проливу и чувствуем уже сухое, жаркое дыхание Персидского залива. Кончилось наше одиночество на море. Мы находимся на нефтяной трассе, на трассе величайших в мире богатств и величайших интриг. Танкеры, плывущие на север, возвышаются над водой, как большие дома. Те же, что возвращаются на юг, погружены глубоко, их средние палубы едва видны над волнами. Ночью их силуэты выглядят диковинно. Кажется, что огни на корме и на носу принадлежат разным судам.

Желтое облако далеких гор, которые мы наутро обнаруживаем справа по борту, — это уже побережье Ирана. Море становится плотнее. На его тяжелых волнах нежатся серые ужи. Мы проплываем мимо скалистого красного острова, похожего на груды выжженного солнцем шлака. Остров называется Язех Фарюр. На берегах ни траинки. И все-таки объектив бинокля обнаруживает в изломах этой мертвой земли светлые пятна человеческих жилищ. Есть какая-то строгость в неподвижной, яркой погоде. Мы привыкли сравнивать солнечный свет с улыбкой. Здесь он

полон ярости. Даже ночь пышет его упрямым, молчаливым гневом.

Мы медленно отклоняемся к северу. Наступает четвертый день пути, и вот мы плывем по мутной светло-зеленой воде прибрежных отмелей, исчерченной длинными подтеками масла и ржавчины. Это танкеры в конце пути сливают в море свой балласт. Мы останавливаемся у края залива. Берег еще едва виден на горизонте, но нам кажется, что он совсем рядом. К нему ведут отмеченные буями трассы. Около тридцати судов уже ждут лоцманов. Недалеко, слева по борту, плавает странная платформа с подъемными кранами — неоконченная установка для перекачки нефти.

Лоцман поднялся на нашу палубу около полудня. Даже два лоцмана, потому что огромный курчавый детина привез с собой практиканта. Матросы сняли с катера, на котором они приехали, тяжелые чемоданы, словно лоцманы отправлялись с нами в дальний рейс.

Мы медленно, осторожно петляли между илистыми косяками. Нас опережали даже рыбацьи парусники. Наконец горизонт исчез за однообразной чашей финиковых пальм. Вот долгожданная зелень, но какая-то она скучная, пыльная, истомленная жарой. Мы плыли посередине большой реки с тяжелой и жирной водой, коричневой, как кофе.

Мы прошли Абадан с его алюминиевыми трубами, нефтепроводами, нефтехранилищами и разноцветными автомобилями и Хорремшехр со стоявшей на якоре у причала эскадрой канонерных лодок. На левом, иракском берегу время от времени попадались спрятанные среди пальм жалкие селения. Дома из глины и пальмовых листьев, без окон, окруженные валами и ревниво хранящие тайны внутренних дворов, кажутся беспомощными крепостями, рыжие стены которых можно разрушить хворостинкой. Было время сбора фиников. Женщины в черном с закрытыми лицами спускались к воде, неся на головах ящики. У каждого селения грузили баржи. Арабские парусники с наклоненной вперед мачтой, низким носом и высокой кормой, груженные ящиками с финиками, медленно ползли вверх по реке.

К вечеру мы бросили якорь близ левого берега. У кормы немедленно появились узкие лодки из побелевшего от старости дерева. Лодочники делали нам какие-то непо-

нятные знаки, украдкой показывая зажатые в кулак деньги. Они не привезли ничего для продажи. Приехали покупать папиросы, консервы, возможно спирт. Не смущаясь равнодушием экипажа «Ойцова», они терпеливо ожидали в тени наших бортов. Стемнело, а они все еще стояли там, время от времени ленивым ударом весла выправляя положение своих лодок.

На суше, среди пальм, зажгли костры. То, что казалось минутной остановкой, превращалось постепенно в прочную стоянку.

— В прошлый раз мы здесь простояли неделю, прежде чем нашлось место в порту,— сказал капитан.

Мы уселись на шлюпочной палубе. Пальмовые рощи поглотили жару, и река дышала прохладой. Лоцман, вытянувшись в шезлонге, сосал финики, начиненные миндалем. Его губы были презрительно надуты, и он казался человеком, которого ничем не удивишь.

Нехотя, словно делая одолжение, он отвечал на наши вопросы.

— Каковы отношения с Ираном?

— Очень плохие.

Он констатировал это равнодушно, даже с удовольствием и гордостью. Нам не нужны были объяснения. Уже по одному тону было ясно, что во всем виновата противная сторона.

— А как обстоит дело с Кувейтом?

Он пренебрежительно пожал плечами:

— Kuwait small village. Belongs to Basrah liva*.

Он не стал вдаваться в подробности, предоставив это нашему капитану, разбирающемуся в здешних делах. От капитана мы узнали, что «liva» — нечто вроде нашей области. Это не расширило, однако, наших знаний о существовании нашумевшего на весь мир конфликта.

— Same language, same people**, — заключил лоцман на своем примитивном английском языке.

— Но ведь все арабы,— возразили мы,— говорят на одном языке. Это не аргумент.

— Здесь дело в нефти,— объяснил он.— Англичане и американцы не хотят выпускать из рук кувейтскую нефть. Но мы их выгоним, как выгнали из своей страны.

* Кувейт — маленький городок. Принадлежит к «ливе» Басры (англ.).

** Тот же язык, тот же народ (англ.).

— Это, должно быть, не так просто.

Лоцман потянулся, зевнул. Ох, и надоедливы же эти иностранцы!

— No problem*.

Около кормы тихо ударяли весла, тени склонившихся над удочками матросов застыли в неподвижности, маленькие красные огоньки вспыхивали в гуще плантаций, и большая луна медленно поднималась над пальмами, освещая рваные контуры их беспомощно повисших листьев.

Лоцман зевал, почесывая под рубашкой волосатую грудь.

— No problem.

Его зевота была заразительной, она передавалась и нам. Я думал о перспективах недельной стоянки здесь, на трассе приключений Синдбада Морехода, в самом центре одного из острейших политических конфликтов; мысли вращались лениво, отяжелев от меланхолической скуки.

ПОД СЕНЬЮ РАЙСКОГО ДЕРЕВА

Всего двое суток наблюдали мы одну и ту же картину: глинобитный склад фиников, окруженный запыленными пальмами, черные женщины, несущие на головах ящики с финиками, узкие лодки торговцев, спующие возле нашей кормы. Я говорю «всего двое суток», потому что мы уже успели привыкнуть к ритму восточной жизни и запаслись терпением. Мы научились жить не спеша, не назначать себе никаких сроков, подавлять беспокойное воображение жителей Запада, превращающих каждый день в гонку к финишу, где их может ждать только смерть.

Вот почему нам удалось провести сорок восемь часов стоянки на реке так, словно они были не ожиданием, а одним из этапов путешествия. В порт Басры мы входили без особого волнения, испытывая лишь обычный интерес к новому месту и, быть может, затаив где-то в глубине души робкую надежду, поскольку польское посольство в Багдаде заверило нас с Марианом, что здесь нас ожида-

* Это не проблема (англ.).

ют настоящие визы — не полицейские разрешения, распространяющиеся только на портовый город, а визы, действительные во всей стране, и, кроме того, приглашения в Багдад, где нам обещали устроить встречу с иракскими писателями. Итак, мы чувствовали себя уверенно и спокойно, а Басру рассматривали как первый шаг на пути познания нового, как ворота, через которые удастся проникнуть в самые недра страны.

Было семь часов утра, когда с кормы и с носа бросили перлини* и корабль, ставший огромным, как всегда, когда он вместо беспредельных далей попадал в окружение вагонеток и портовых строений, начал медленно приближаться к набережной. От железнодорожных путей, пыльной мостовой, крыш складов уже веяло жаром. На суше облик порта резко менялся — несмотря на видневшиеся над крышами верхушки пальм, его трудно было принять за восточный город.

— Обрати внимание, какой порядок,— сказал Мариан.— Солдаты здесь работают, что ли?

У стен складов длинными рядами выстроились прислоненные друг к другу велосипеды. Все суетившиеся на набережной люди были одеты в одинаковые комбинезоны цвета хаки. Эти докеры в мундирах казались опрятнее, выше ростом, чем их оборванные собратья в других арабских портах, да и работали они лучше.

Вышедший из каюты капитан был мрачен и чем-то озабочен.

— Вечно одно и то же,— сказал он.— Договорились насчет пяти бригад, а явились только три. Неизвестно, удастся ли начать разгрузку сегодня.

Мы не разделяли его огорчения. На стоянках наши интересы не совпадали. Мы втайне мечтали о ленивых докерах, о не внушающих доверия портовых грузчиках, о задержках с доставкой товара. Лишь бы подольше постоять. Особенно на этот раз, когда нас ожидало путешествие к самому сердцу страны.

Мы с волнением ожидали полицейских. Однако к нам никто не спешил. Все утро мы бродили по палубе, пытались заставить себя сидеть в каюте с книгой в руках, но, заслышав малейший шум, выскакивали в коридор. Толстый баталер с озабоченным видом носился взад-вперед

* Перлинь — корабельный пеньковый канат.

с пачкой бумаг под мышкой; от него ничего нельзя было добиться. Наше терпение успело истощиться за время стоянки на рейде. Наконец появились полицейские в зеленых и коричневых мундирах, в пилотках и фуражках, с длинными деревянными дубинками, с четками вокруг запястий. Трудно было понять, кто из них главный. Полицейские тут же принялись выпрашивать у баталера сигареты. К нам они отнеслись с нескрываемым пренебрежением.

— Пассажирам сходить на берег запрещено.

— Но у нас есть визы. Нам сообщили, что они ждут нас тут, в Басре.

Полицейские переглянулись и пожали плечами:

— Визы? Не знаем. Ни о каких визах мы не слышали.

— Мы получили официальное извещение из Багдада.

— Из Багдада! Но здесь же Басра, а не Багдад.

До сих пор мы имели дело с абстрактными понятиями. Мы говорили: «Ирак обещал визы», «Ирак нас впустит». Теперь Ираком стали эти люди в мундирах — этот косоглазый в пилотке, этот толстяк с бачками, этот детина с длинным носом — все эти полицейские, которых наша назойливость явно раздражала. Наша любознательность и наша профессия не вызывали у них никакого уважения. Ясно было одно — Ираку мы не нужны.

Однако мы не собирались поддаваться столь характерному для нашего времени ощущению бессилия человека перед безликим существом, коим является государство. Если даже тут не произошло ошибки, если в визах нам отказали намеренно, мы все равно могли еще рассчитывать на недоразумение, на неразбериху, на счастливый случай.

Счастливый случай действительно уже ждал нас в кают-компании в образе человека огромного роста, с проседью, с веселыми, немного раскосыми глазками цвета воды в Висле. Его звали Анджей Стшелецкий, и он занимал должность главного инженера электростанции в Басре.

В самом его появлении было нечто волшебное, составляющее оптимистическую сторону любой сказки. Откуда он узнал о нас? Увидел польский флаг из своего окна и тут же пришел. Но прийти тоже оказалось не так просто. Конечно, в пропуске ему отказали, но он жи-

вет здесь уже больше двух лет и знает, как нужно себя вести. Впрочем, достаточно было взглянуть на него, чтобы понять: для этого человека препятствий не существует. Кают-компания казалась слишком маленькой для его энергичных движений, слишком тесной для его безудержного смеха.

Слушая его, мы начинали верить в действенность здравого смысла и чувства юмора, этих ценнейших человеческих качеств, без которых пытаются обойтись некоторые государства и правительства.

Штелецкий нарисовал картину нравов здешней бюрократии — одной из самых страшных в мире. Как и повсюду, для нее характерен культ бумажки, или «китабы». Поскольку «китаба» является основой и символом власти, каждое учреждение считает своей обязанностью издавать собственные «китабы». Кроме того, как и при всех восточных военных диктатурах, в странах, именуемых республиками, власть становится монополией братьев, племянников и кузенов диктатора. Этот современный вариант восточной синекуры сохранил кое-какие черты родового феодализма. Каждый местный администратор чувствует себя удельным князем и любит подчеркивать собственную значительность, особенно в мелких делах. Поэтому посланная из Багдада в Басру «китаба» автоматически вызывает басрскую «контркитабу», которая, прежде чем она станет наконец правомочной, обрастает целой свитой менее важных «китаб», издаваемых разнообразными учреждениями административной машины, жаждущими подчеркнуть свое творческое участие в управлении государством. Мелкие функционеры, ответственные за исполнение распоряжений, чаще всего теряют ориентацию в этой игре и, опасаясь восстановить кого-нибудь против себя, предпочитают ничего не делать, пока начальство не решится вмешаться лично. Чтобы чего-нибудь добиться, нужно твердо знать, кого и кем надлежит пугать. В принципе безвыходных положений нет. Каждое из них представляет собой шараду, решение которой требует ловкости и сноровки, и прежде всего самоуверенности.

Оказалось, что в нашем случае было достаточно и плюсов и минусов, которые не только не испугали пана Анджея, а напротив — скорее распалили его воображение игрока.

Самым большим минусом было то, что баталер указал в списке пассажиров наши профессии. В глазах иракской полиции каждый иностранный журналист — шпион. Другой промах совершило посольство, оформив наши визы непосредственно в Багдаде и обойдя тем самым местные власти в Басре. Таким образом, у последних появился повод продемонстрировать свою значимость. Но в то же время существовало и благоприятное обстоятельство. Случайно в Басру по служебным делам приехал секретарь польского посольства — тот самый, который занимался нашими визами. Расхаживая по уют-компани, жестикулируя, пересыпая свою речь остроумными, наш земляк и покровитель составлял план действий. Он решил нанести удары сразу на нескольких фронтах. Телефонный звонок в Багдад, вмешательство секретаря посольства и, наконец, самое надежное — личные связи.

Стшелецкий ушел, захватив наши паспорта.

Пока же время шло, а для нас Ирак все еще оставался отрезком подъездного пути, низкой стеной портового склада, мундирами полицейских и военизированными комбинезонами докеров, которые праздно слонялись по набережной, дожидаясь результатов сложных переговоров между капитаном, представителем портовых грузчиков и агентом.

Инженер Стшелецкий вернулся на корабль около пяти часов. На паспортах, которые он нам вручил, красовались пышные, заполненные витиеватыми арабскими надписями печати. Через полчаса мы сидели в холле гостиницы «Шатт-эль-Араб» и разговаривали с представителем польского посольства.

— Можете ли вы себе представить, — говорил он, — что я сам шесть недель ждал пропуска в Басру? А ведь я приехал по делам службы и пользуюсь дипломатическими привилегиями. С вашим приглашением в Багдад произошла какая-то ошибка.

Погрузившись в глубокие кресла, мы потягивали кока-колу со льдом. Под высоким потолком шумели вентиляторы, около входа, за стеклянной перегородкой, улыбающиеся барышни давали справки иностранцам на безукоризненном английском языке. Внутреннее убранство здания было довольно пышным благодаря лоджиям над сводчатыми нишами главного зала, мраморным ко-

лоннам и мясистым пальмам в огромных кадках. Все вместе взятое вполне соответствовало традиционным представлениям о гостиничной роскоши — традиционным в европейском смысле слова. Даже пальмы казались выращенными в оранжерее.

Наш любезный дипломат рассказал несколько любопытных историй. Мы узнали, что обладание въездной визой в страну вовсе не означает свободы передвижения по ней. Виза лишь гарантирует возможность пребывания в местности, обозначенной как цель путешествия. Каждый переезд из одного округа в другой требует особых разрешений, причем выбор средства передвижения также входит в компетенцию властей. Если б даже нам удалось раздобыть пропуск в Багдад, отправиться туда пришлось бы на самолете, что безусловно превышало наши возможности, а для посольства представляло слишком серьезный расход.

Мы начинали кое-что понимать. Не стоило и задавать вопросов. Трудно было не заметить атлетически сложенных штатских с бачками и сигаретами в зубах, бесцельно подпирающих колонны и переводящих скучающие взгляды с одного лица на другое. И тем паче полицейских в мундирах, снующих из угла в угол с неотъемлемыми деревянными дубинками. По мере того как тускнели миражи наших прекрасных проектов, все большую ценность приобретали добытые паном Анджеем печати в наших паспортах.



Десять дней наше судно стояло в Басре. Топографию города мы изучили по карте; он состоит из трех обособленных частей: портового Маргиля, торгового Ашара и района вилл и пышных резиденций — Басры, — как бы нанизанных на длинную ось, протянувшуюся вдоль реки. Город окаймлен поясом финиковых пальм и изрезан каналами. Древняя Бассора, помнящая еще времена непосредственной близости моря, остается в стороне, на краю пустыни.

Из гостиницы «Шатт-эль-Араб», расположенной неподалеку от аэродрома на окраине Маргиля, пан Анджей повез нас ужинать к себе, в застроенный вилами квартал новой Басры. Главная улица — та самая про-

дольная ось города — оказалась, собственно говоря, шоссе, длинная лента которого то и дело обрывается, вливаясь в засеянные цветами круглые площади. Над асфальтом гибкими дугами склоняются неоновые фонари, проносятся длинные американские автомобили, создавая шумную атмосферу большого города. То тут, то там вдоль шоссе попадаются случайные постройки: то сверкающее стеклом административное здание среди полуразвалившихся хижин из необожженного кирпича, то клетушки деревянных лавчонок, прилепившиеся к ограде бетонированных заводских цехов. Дальше по обеим сторонам шоссе унылая пустошь. Здесь пасутся козы и едва приподнимаются над землей крыши тростниковых, обмазанных глиной хибарок. Кажется, это уже конец города, но через мгновение мостовую обступают открытые плоские дощатые веранды, где под жестяными рекламами кока-колы мужчины в белых одеждах стучат по столам костяшками домино. И снова круглая площадь, двухэтажные дома, начало бульвара над каналом, вывески крохотных гостиниц, врачей, торговых контор, флаги над воротами учреждений.

Я говорил о поистине фантастическом уличном движении в Карачи. Но Карачи — большой город с массой самых разнообразных средств передвижения; там царит полная неразбериха и нелегко соблюдать порядок. Здесь же мы ехали по широкому, разделенному на две дорожки шоссе, проходящему преимущественно по открытой местности и несколько не перегруженному. Несмотря на это, наши тормоза то и дело визжали, а мы, подчиняясь силе инерции, слетали с сидений. Пан Анджей хохотал и ругался. Из-под колес, как огромная птица, выскакивал неустойчивый велосипедист, шелестя распахнувшейся галабией. Впрочем, чаще всего на одном велосипеде сидело по два или даже по три человека. Мы с ужасом смотрели, как они прямо-таки бросаются под колеса следующей машины, которую в свою очередь страшно заносит на асфальте.

Неожиданностей, однако, следовало опасаться не только со стороны велосипедистов. Невозможно было предугадать, не наскучит ли едущему впереди водителю избранное им направление и не захочется ли ему загорючить нам дорогу. И такие намерения появлялись у него преимущественно тогда, когда мы пытались обогнать

его машину. В ответ на предупреждающий гудок из окна обгоняемого автомобиля, как правило, высовывалась смуглая кисть руки, большой и безымянный пальцы которой соединялись очень изящным и убедительным движением. Кисть слегка покачивалась. Этот выразительный жест означал: «такика» — «минуточку, куда ты спешишь?». Пан Анджей гудком повторял свое требование, но, когда наконец казалось, что тот уступает и собирается освободить нам дорогу, решение шофера внезапно менялось, и предусмотренный правилами обгон превращался в яростную гонку.

Близость между людьми создается не столько в результате общности языка или обычаев, сколько благодаря способности предвидеть реакции ближнего, угадывать его мысли и чувства. В доме Стшелецких оказалась на редкость благоприятная обстановка. Мы попали в самый разгар подготовки к именинам хозяйки. В квартире было прохладно. Сухой зной, пальмы, удивительный город и непонятные люди — все осталось позади. Собравшиеся — несколько поддерживающих дружеские отношения польских семейств — распределяли между собой обязанности в связи с предстоящим приемом. Решали, кто приготовит бигос*, кто принесет пластинки, а кто — рюмки. Весело сплетничали.

Нас тут же посветили в дела местной инженерной колонии, потихоньку показывали сюрпризы — соответствующие случаю эпиграммы и карикатуры на служащих электростанции. Мы сразу почувствовали себя полноправными членами этого маленького заброшенного в чужой мир общества и свободно вздохнули, оказавшись в такой знакомой, варшавско-интеллигентской обстановке. Никто не должен был заниматься нами — мы не были пассивным объектом официального гостеприимства. Ведь мы приехали с родины, и поэтому нас принимали как родных, привезших весточки от самых близких. Все с благоговением курили наши сигареты «Грюнвальд» и буквально засыпали нас вопросами. Тут роли переменялись: обыденность, спасаясь от которой мы попали в эти далекие края, становилась нашей привилегией, вызывала зависть и тоску.

К вечеру появился Салех, арабский приятель наших новых друзей. Мы были предупреждены о его приходе:

* Бигос — национальное польское блюдо из капусты с мясом.

нас очень деликатно попросили приготовиться к тому, что атмосфера непринужденности будет несколько нарушена.

— Он обаятельнейший человек и все понимает,— сказала пани Стшелецкая,— но он страшно впечатлителен, и его очень легко обидеть. При нем нужно говорить осторожно.

На Салехе был серый фланелевый костюм, но даже сегодня, вспоминая об этом человеке, я вижу его как бы сошедшим с персидской миниатюры, закутанным в шелк, с цветком розы в длинных пальцах. Этот тип утонченной красоты нам знаком по восточной поэзии и живописи. Необычно удлиненные конечности, женственная мягкость движений, безупречный овал лица, нежный, задумчивый взгляд и по-детски пухлые губы.

Казалось удивительным, что Салех — инженер-электрик и приехал сюда на машине. Я ждал, что он начнет читать стихи или кто-нибудь подаст ему люгню, но пани Стшелецкая подошла к нему с бутылкой чистой «водки wyborowej», и Салех, осыпаемый остротами, принялся наверстывать упущенное.

Около полуночи хозяин предложил поехать покататься. На трех автомобилях мы двинулись по безлюдным аллеям района особняков. Я ехал в первой машине с инженером Срочинским и его женой, процессию замыкал белый «шевроле» Салеха, в котором сидели капитан и секретарь посольства. Вскоре мы оказались в пустыне, казавшейся пепельно-серой в свете луны, а потом снова проехали мимо опустевших кофеен и внезапно свернули с широкой асфальтированной дороги в лабиринт узких улочек старой Басры. Теперь мы двигались медленно — автомобили с трудом помещались между стенами домов. Город казался вымершим. Только бездомные псы рыскали по водосточным канавам да нехотя отступали в тень ночные сторожа с винтовками за спиной. Мы кружили по закоулкам района халдейских христиан, где деревянные балкончики почти смыкались над нашими головами, а из-за угла виднелся темный силуэт храма с глубокой нишей мавританских ворот — скорее крепости, чем церкви.

Мы свернули на одну из улиц; среди глиняных стен открывались тесные проходы, ведущие к каким-то террасам либо спрятанным в самой глубине дворикам или исчезающие в темноте глубоких подворотен. Граница меж-

ду сложенными из ила и тростника домами была почти неразличима. Трудно было поверить, что в этих домах могут спать люди. Изредка где-то раздавалось испуганное повизгивание собак, слышались голоса.

Мы вернулись к машинам и теперь, с трудом выбравшись из лабиринта старой Басры, снова мчались по широком асфальтированном мостовом, пока Салех, сбавив скорость, нарочито медленно не провез нас вдоль рядов одинаковых, еще не достроенных новых домиков.

— Он исправляет нашу ошибку,— сказал инженер Срочинский.— Показывает новые рабочие поселки. Его задело, что мы повезли вас в эти закоулки.

В доме Стшелецких нас ждали настоящий польский борщ и проигрыватель с пластинками. Мы пили и танцевали без усталости. Только насупившийся Салех держался в стороне. Я подошел к нему с рюмкой. Он отказался выпить и принялся старательно жевать банан.

— Не уговаривайте его,— сказала одна из дам.— Он боится, как бы его отец не почувствовал запаха спиртного. Их семья очень ортодоксальна.

Я подсел к Салеху, мне хотелось хоть немного его развеселить.

— Прекрасная была прогулка,— сказал я.— Наконец-то я увидел настоящий Восток.

Он грустно усмехнулся, словно отклоняя вежливую ложь.

— К сожалению, мы во многом еще отстаем, у нас много нужды,— ответил он.— Но всего этого не будет. Со временем мы разрушим все сарифы*, все антисанитарные трущобы. У нас много строят, но эта проблема не из легких. Не думайте, что вы видели настоящий Ирак.

Мои самые искренние восторги, вызванные живописностью старой Басры, тоже не произвели впечатления.

— Безусловно у нас есть прекрасная древняя архитектура,— сказал он.— Вавилон, Ур... Поезжайте туда.

Я не стал уточнять, что Вавилон и Ур — это вовсе не арабская архитектура. Чтобы улучшить его настроение, я охотно присоединил бы к ним и месопотамский рай. Вскоре он ушел, так и не повеселев.

Разумеется, как только он скрылся за дверью, его особа стала главной темой разговора.

* Лачуги (араб.).

Наши друзья чувствовали себя обязанными объяснить его поведение.

Жизнь молодого, получившего современное воспитание интеллигента в этой стране, где все еще свято соблюдаются традиционные обычаи, очень нелегка. Салех — агностик, но тем не менее он вынужден скрывать, что пьет спиртные напитки, должен делать вид, что является правоверным мусульманином. В результате все отжившее, все традиционное вызывает в нем глухое чувство протеста. Положение женщин еще тяжелее. Сестры Салеха настолько эмансипированны, что осмеливаются бывать в этом доме. Однако приходят они всегда в своих черных абах*, с закрытыми лицами. Войдя в квартиру, они сбрасывают покровы, но держат их наготове под рукой. Стоит кому-нибудь позвонить в дверь, как девушки снова накидывают покрывала поверх нейлоновых платьев, а посвященные в суть дела мужчины выходят из комнаты. И эти предосторожности совершенно обоснованы. В ортодоксальных мусульманских семьях женщина находится под строгим присмотром. Если ее репутация будет запятнана, последствия могут оказаться очень серьезными. Тотчас же все мужчины рода соберутся на совет, и нередко провинившейся выносится смертный приговор. Приводит его в исполнение обычно родственник, совесть которого не обременена никаким нарушением закона, либо тот, у кого нет своей семьи. По свершении акта правосудия убийца является к властям, которые карают эти самосуды относительно мягко — несколькими годами тюрьмы.



Представление о рае рождено человеческой слабостью. В раю нет ни гор, ни морей, ни знойных пустынь, ни ледников. Это — надежное убежище, возделанный сад, заросший цветами и плодовыми деревьями, среди которых журчат освежающие ручейки и разгуливают кроткие животные. Картина рая создавалась в тоске по умеренному климату. Очевидно, она возникла в воображении кочевников, с трудом бредущих по раскаленной, безводной пустыне, от оазиса к оазису. Может быть, они грезили о какой-то стране, о которой слышали, но куда не имели до-

* А ба — род женской одежды.

стуга. Может быть, это как раз и была Месопотамия, поскольку, согласно одной из легенд, райский сад находился на месте слияния Тигра и Евфрата.

Супруги Стшелецкие уверяли меня, что, если лететь в Багдад самолетом, сверху на высохшей поверхности пустыни явственно видны следы ирригационных каналов и ведут эти следы не в столь уж далекие времена. Некогда арабы поддерживали в порядке оросительную систему, созданную еще халдеями. Лишь турки уничтожили ее и вернули землю пескам пустыни. По-видимому, они сделали это намеренно, чтобы разорить и тем самым принудить к повиновению непокорных подданных. И как аккуратно была проделана разрушительная работа! Нет ничего удивительного в том, что каждый зеленый островок кажется здесь уцелевшим кусочком Эдема.

Один офицер из польской посреднической миссии во Вьетнаме как-то говорил мне, что видел «преддверие джунглей». Местность, по которой мы ехали из Басры в Крну — тот самый вымышленный рай, расположенный у слияния Тигра и Евфрата, — можно было назвать преддверием пустыни. Но, с другой стороны, его можно было считать и преддверием цивилизации. Это был какой-то половинчатый, неопрятный мир — непонятно, рождался ли он или печально угасал. Пространства, заполненные серо-желтым песком, были мало похожи на творения природы — они скорее производили впечатление опустошенных каким-нибудь гигантским промыслом территорий, нескончаемых заброшенных разработок.

На востоке, там, где за песчаными холмами нес свои воды невидимый отсюда Шатт-эль-Араб, кое-где, словно пучки выщипанных перьев, торчали верхушки пальм. Вдоль шоссе тянулись сарифы — кубические мазанки, хижины из циновок, палатки с грязными стенами. На этих разбросанных по бесплодной пустыне, окруженных раскрошившимися глиняными стенами убогих человеческих жилищ лежал грустный отпечаток недолговечности. По песчаным тропинкам вдоль дороги, важно покачивая мордочками, шествовали крошечные ослики. Позади них брели закутанные в черные одежды женщины с корзинами, кувшинами или просто канистрами от бензина на голове.

Время от времени по шоссе в клубах белой пыли проносились автобусы, прямо-таки забитые пассажирами и

их добром. Спереди крыши автобусов были украшены резными решетками из гнутого железа, к которым нередко была прикреплена олеография с портретом святого с патриархальной бородой, в белой куфье*, обшитой черным шнуром,— вероятно, Мухаммеда. По-видимому, в Ираке религия более терпима к живописи, чем, например, в Саудовской Аравии. Может быть, здесь с религиозной традицией скрестилось течение изобразительного придворного искусства, которое процветало в этих краях в конце средних веков? Впрочем, и этот вопрос, так же как вообще все в Ираке, кажется неясным. Нам не удалось установить логической связи между таким относительным либерализмом и отношением властей к фотографированию. Когда мы спрашивали полицейских в порту, можно ли делать снимки, нам отвечали, что запрета фотографировать не существует. Тем не менее один из офицеров, заметив нашу радость, тут же с явным замешательством добавил, что не советует нам выносить фотоаппараты за ворота. Все-таки мы их тайком вынесли, надев ради этого пиджаки, хотя от жары пот с нас лил в три ручья.

Некоторые автобусы и грузовики были украшены развевающимся на ветру зеленым знаменем пророка.

Нас обгоняли также частные автомобили, преимущественно типа «комби», то есть фургончики с деревянными кузовами: машины, которые на улицах наших городов все еще вызывают сенсацию благодаря современным линиям, здесь прежде всего поражают иностранца своим плачевным состоянием. Все они были набиты до отказа, а из багажников торчали самой удивительной формы узлы.

— Переезжают,— кратко объяснил мне инженер Срочинский, когда я вопросительно указал на растрепанные тростниковые циновки, подпрыгивающие на крыше одного из «крокодилов». Какая-то семья перевозила с одного места на другое свой дом. Один фургон остановился прямо перед нами возле убогого кочевья, и, когда водитель отворил дверцы, изнутри высыпало небольшое стадо баранов.

В наших глазах машина и животные резко контрастируют друг с другом. Но это, понятно, вопрос привычки.

* Куфья — маленькая круглая шапочка, на которую обычно наворачивается чалма.

Когда супруги Срочинские приобрели свою «сайару»*, иначе говоря «бьюик», на котором мы теперь ехали в Крну, их арабские знакомые усиленно настаивали, чтобы они купили также и ягненка и начали свою карьеру автомобилистов, задавив несчастное животное. Вот поистине глубокий контраст — противоречие разных эпох, пытающихся вписаться в одно и то же время. Современная техника освящается с помощью библейской жертвы барашка.

Ход времени нарушен.

Совершенно оголенная местность внезапно напомнила нам, что это и есть самая настоящая пустыня. На западе мы увидели большое, дрожащее в раскаленном воздухе озеро. Несколько одиноких пальм отражалось в его водах.

— Хаммар? — попытался я восстановить в памяти детали карты.

— Нет. Хаммара отсюда не видно. Это оптический обман.

А потом перед нами возник уже не мираж, а группа каких-то странных сооружений, напоминающих развалины ассирийских или вавилонских пилонов. Желтые массивные потрескавшиеся строения возвышались по обеим сторонам дороги, окруженные горами желтого щебня. По крышам двигались человеческие фигуры с длинными шестами в руках. Из труб валили клубы темного дыма. Это были кирпичные заводы. Тут обжигали тот самый недолговечный белый кирпич из глины, добываемой с морского дна. Этот кирпич создает характерный колорит улиц Басры и придает еще более жалкий вид ее домишкам, находящимся под постоянной угрозой разрушения. Сушеный коровий навоз, который подбрасывали в огонь, насыщал знойный воздух смрадом. Печи растянулись на целые километры.

Миновав наконец последние из них, мы увидели перед собой проволочные ограждения, многочисленные ряды военных палаток, орудия, грузовики и бронированные автомобили. Посреди вытоптаных солдатскими сапогами учебных плацев на высоких мачтах развевались флаги джумхурии. Лагерь был огромных размеров, в нем размещалась по крайней мере дивизия. Сверкая на солнце

* Автомобиль (араб.).

повехоньким оружием, солдаты в новом обмундировании выстраивались перед полевыми кухнями.

Сарифы, мимо которых мы только что проезжали (наверно, многие из солдат, протягивающих сейчас свои котелки за казенным обедом, жили именно в таких домах), показались мне менее удобными и даже менее прочными, чем палатки и бараки полигона. Там, «на гражданке» — грязные лохмотья, едва прикрывающие наготу, крыша из истрепанной циновки, трепещущий под открытым небом огонек, пресная ячменная лепешка, канистра из-под бензина вместо кастрюли, здесь — сытость, надежный кров над головой, порядок, изобилие дорогого современного оборудования. Совершенно очевидная взаимозависимость между этими двумя сторонами жизни поражала своей демагогической пошлостью. Какая же «высшая необходимость» составляла ее оправдание и причину? Иракская армия уже перестала быть одним из столпов Багдадского пакта, но «высшая необходимость» сохранилась по-прежнему. Теперь армия поддерживала диктаторскую власть, участвовала в карательных экспедициях, посылаемых в курдские деревушки, стояла в боевой готовности на границе с Кувейтом. Путь в рай земной не давал примеров того, чтобы нормальные, ежедневные потребности человека причислялись к необходимости высшего порядка. Впрочем, этому не следовало удивляться. Поскольку мы находились у врат рая — в «преддверии рая», как сказал бы мой знакомый капитан, — мы шли по бесплодной земле изгнанников, по грустной стране покаяния.

Проделав восьмидесятикилометровый путь, наши два автомобиля свернули с высокой насыпи моста через Евфрат на узкую боковую дорогу между кирпичными домиками Крна. Эти домишки были ничем не примечательны — ни своеобразным стилем, ни почтенным возрастом. В лучшем случае они были отмечены полным отсутствием эстетического вкуса. Несмотря на это, городок производил приятное впечатление благодаря обилию деревьев и тени. Мы остановились на пыльной площади, одной стороной выходящей к реке — на этот раз к Тигру, потому что Крна лежит буквально у слияния Тигра и Евфрата, на треугольном мысе между их руслами. Нас окружила кучка босоногих ребятишек. С любопытством они разглядывали аппараты, которые мы теперь извлекли на свет божий. Неподалеку, прямо над бурными водами Тигра, стояло

дерево. Нам не понадобились никакие объяснения. Окружающая ствол низкая каменная кладка с железной решеткой и калитка из железных прутьев, похожая на вход в деревенскую часовню, резко отличали его от других деревьев. Висевшая тут же табличка не оставляла места сомнениям. Мы только не могли определить, что это за дерево, но дети все равно не сумели бы дать нам никаких пояснений. Его листья немного напоминали листья дуба, густая крона разрослась необычайно буйно, зато ствол был довольно тонким, гладким, совсем молодым с виду. Надпись на табличке, сделанная на двух языках — по-арабски и по-английски, — гласила: «Священное дерево Адама. На этом святом месте, где Тигр встречается с Евфратом, выросло священное дерево нашего праотца Адама, символизируя собой сад Эдема на земле. Авраам молился здесь две тысячи лет назад».

Однако святость этого места не оказывала заметного влияния на жизнь Крны. Удивление, которое вызвали наши аппараты — и в особенности кинокамера Мариана, — свидетельствовало о том, что иностранные туристы здесь нечастые гости; полное отсутствие туристических баз и торговли сувенирами не говорило об особой популярности этого города. Неужели тоска по райской жизни угасла? А может быть, и здесь у людей возникли сомнения? Лично я был твердо уверен в одном: две тысячи лет назад, независимо от того, где и под каким деревом молился Авраам, пугливые женщины, позвякивая латунными браслетами на лодыжках босых ног, носили на головах сосуды с водой из Тигра так же, как те, которые сейчас проходили мимо нас, стараясь не попасть в поле зрения наших назойливых аппаратов. Разве что тогда у них не было бидонов от бензина. Это мелкое различие лучше всего характеризовало историю двухтысячелетнего прогресса.

В конце улочки, на самом краю мыса между реками, находилось нечто вроде маленькой кофейни или клуба — кирпичный сарайчик и обнесенный низкой каменной оградой садик со столиками и стульями разнообразнейших фасонов (совсем как в краковской квартире) — от кухонной табуретки до креслица из алюминиевых трубок в стиле «модерн». Замусоренный газон, как попало протоптанные, посыпанные песком дорожки, несколько теннистых деревьев и цветущих кустов создавали впечатле-

ние запущенного, но не лишнего живописности укромного уголка. Вокруг, на протянутой между столбами проволоке, висели разноцветные электрические лампочки. Сразу же за стеной, на клочке песчаного берега, стояли тростниковые сарифы рыбаков. С обеих сторон, в обрамлении пальмовых рощ, несли свои одинаково бурные и мутные воды Евфрат и Тигр, сливаясь прямо перед нами в один тяжелый, с множеством медленных водоворотов поток.

В кофейне не было ни одного посетителя. Мы вытащили привезенные из Басры припасы, а босоногий паренек в необыкновенно грязной галабии поставил перед нами целый набор бутылок с прохладительными напитками. Кроме него в этом заведении сидел изможденный старик, вооруженный тряпкой и коробочкой крема для обуви. Он сидел на корточках неподалеку от нас у подножия дерева; стоило нам поглядеть в ту сторону, как старик, улыбаясь, жестами принимался уговаривать нас доверить нашу обувь его заботам. Из репродуктора в сарайчике доносились рыдающие звуки арабской музыки. Окружающая нас зелень, напоенная влагой даже под раскаленным добела небом, вселяла в наши души безмятежный покой. Как же необходимо слияние человека с природой! Без зелени невозможно представить себе рай земной.

По рекам плыли выдолбленные из стволов деревьев лодки с закругленными вздернутыми кормами и носами. Они были похожи на венецианские гондолы. Почти каждый гребец, подплывавший к водовороту в месте слияния течений, наклонялся и пил, черпая воду каким-нибудь сосудом либо пригоршнею. Так, очевидно, требовал обычай. Наверно, вода в этом святом месте тоже святая. А может, и кишашие в ней амебы?..

Вдруг радио умолкло. Через несколько секунд тихий мужской голос начал фальцетом произносить какие-то молитвенные заклинания. На лицах босоногого официанта и старого чистильщика обуви появилось сосредоточенное выражение. Наши басрские приятели посмотрели на часы.

— Четыре, — сказал кто-то из них.

Снова воцарилась недолгая тишина, а потом раздался энергичный, звучный тенор. Человек говорил быстро и плавно, подчеркивая концы фраз, словно бросал с трибуны приказания.

— Это Кассем,— объяснил нам инженер Стшелецкий.— Он выступает каждый день в четыре часа.

Речь продолжалась десять минут. Мы поняли только одно, многократно повторяющееся слово: «джумхурия» — республика. Но выразительнее слов была интонация. За ней чувствовалось красноречие прирожденного оратора. Я слушал с удивлением. Ежедневно десять минут! А звучали эти слова так, словно говоривший их был охвачен страстным вдохновением.

В Басру мы возвращались той же (впрочем, кажется, единственной) дорогой. Из Крны мы увозили воспоминание о покое и благотворной тени, а также цветные плоские корзины из пальмовых листьев — первые образцы народного творчества, которые нам удалось отыскать, потому что в Басре, как и в большинстве других арабских портов, базары завалены продукцией современной промышленности Америки, Германии, Японии. Как получилось, что при таком обилии пластика и нейлона обитатели этих мест сохранили облик библейских пастырей?

Над пустыней в ржавом тумане пыли догорало солнце. Когда сгустились сумерки, наша поездка превратилась в дурной сон автомобилиста. Машины проносились мимо нас на бешеной скорости с потушенными фарами. Изредка встречался какой-нибудь «осторожный» водитель, включивший одну фару, да и то почти всегда со стороны, обращенной к обочине дороги. Далеко на западе небо было охвачено заревом. Когда мы проезжали мимо печей кирпичного завода, из-за горизонта всплыла огромная красная луна. Над печами стлался тяжелый черный дым, освещенный снизу кровавыми отблесками огня. Здесь, в огромных пространствах пустыни, он таил в себе какой-то мистический ужас.

Мы строили планы на следующий день. Наши приятели предлагали совершить новую экскурсию — на этот раз на юг, в направлении нефтяного порта Фао. Секретарь посольства приготовил нам сюрприз — встречу с интеллигенцией Басры. Когда глубокой ночью, после ужина в гостеприимном доме Стшелецких, мы вернулись на корабль, в нашей программе появился еще один пункт: нам было приказано явиться в городскую «Резиденс оффис», то есть Управление безопасности. Мы решили воспользоваться случаем и попросить пропуска в Ур и Вавилон.

С этого мы и начали на следующий день беседу с полицейским сановником. Он с серьезным видом выслушал нас, попросил паспорта и предложил сесть на диван против заваленного «китабами» письменного стола. Кроме того, он приказал принести нам чаю. Этот деятель был небольшого роста, с желтоватой кожей, маленькими усиками и гладко прилизанными волосами. У него были темные, холодные, задумчивые глаза хранителя многих опасных тайн, а слова и жесты отличались любезной, но малоприятной сдержанностью. Несмотря на жару, его зеленый мундир был застегнут на все пуговицы. Только спрятавшиеся под письменным столом ноги не подчинялись общей строгой дисциплине. Сановник сидел без башмаков, упершись ступнями в маленькую деревянную подставку.

Мы приготовились к дипломатической беседе, возможно даже к своего рода завуалированному допросу, и поэтому полное отсутствие интереса к нашим персонам нас смутило. Наши паспорта исчезли с письменного стола — служащий в форме унес их в соседнюю комнату. Обычный чиновничий день шел своим чередом, подчиняясь таинственному и тревожному порядку. Появлялись какие-то просители, которые принимались драматически жестикулировать перед неподвижным обличьем власти, с пренебрежительным видом входили сотрудники в штатском и что-то нашептывали шефу на ухо, полицейские, пристукивая каблуками, отдавали рапорт. Время от времени огромный африканец с ковбойским кольцом у пояса приносил кипы «китаб», которые сановник не спеша перекладывал из одной стопки в другую.

Через час я спросил, долго ли еще нам ждать.

— Сие от меня не зависит, — ответил он. — Я заказал разговор с Багдадом. Пока нет связи.

— А в чем дело?

— Нужно выяснить кое-что относительно ваших виз.

— Да ведь они у нас есть!

— Но они же только временные.

Связи с Багдадом все не было. Нам разрешили выйти в город. Чувствуя себя как бы выпущенными под залог заключенными, мы бродили по безлюдному в эту пору суку*, пахнущему кореньями, гнилью и стоячей водой кана-

* С у к — базар.

лов. Вернувшись в «Резиденс оффис», мы не обнаружили там никаких перемен. Мы снова сидели на диване, потягивая теплый чай из бокалов, осведомители что-то шептались, полицейские рапортовали, чернокожий служитель разносил «китабы». Наконец наши паспорта появились на письменном столе шефа. Любезным жестом он придвинул их к нам.

— Все в порядке? — недоверчиво спросил я.

Он кивнул головой.

— А пропуска в Вавилон?

Он нахмурил брови и произнес:

— Вы меня не поняли. Визы недействительны. Вам нельзя больше покидать корабль.

Мы взволновались:

— А как же деньги? Мы ведь заплатили по десять долларов.

Он открыл лежащий сверху паспорт и пальцем указал на цветные наклейки под печатью визы.

— Здесь у вас гербовые марки на десять долларов. Вам не о чем беспокоиться.

Мы вернулись на корабль.

Во второй половине дня полицейский из портовой охраны вызвал нас к воротам. По другую сторону решетки стояли растерянные Стшелецкие, Подгорские, Срочинские. Через железную решетку они пожимали нам руки, утешали, обещали принять меры. Немного поодаль стоял Салех; лицо его было искажено смущенной улыбкой.



В результате на карту оказался поставлен престиж секретаря посольства. Бог знает, скольких трудов стоило ему отыскать в Басре пятерых представителей интеллигенции и убедить различных блюстителей порядка, что им необходимо с нами встретиться. Теперь уже все было подготовлено, банкет в «Шатт-эль-Араб» назначен на восемь вечера, приподнятое настроение, соответствующее мероприятию «полезного культурного обмена», создано и утверждено, и вот тебе — такая неудача. Мы сидим взаперти на палубе «Ойцова»!

Конечно, в ход были пущены все средства: зазвонили телефоны, чиновников всех рангов растревожили сообще-

нием о нашем приключении, постепенно разрастающемся чуть ли не до размеров международного инцидента.

Тем временем полиция усилила бдительность. Наши паспорта, хранившиеся в письменном столе баталера, были незаконно изъяты. Ирак начинал казаться нам все менее приятной страной.

К вечеру произошли некоторые изменения. Нас снова вызвали в караулку возле ворот, где мы нашли запыхавшихся, разгоряченных борьбой обоих наших покровителей — секретаря посольства и пана Анджея. Они добыли для нас разовое разрешение на выход, чтобы мы все-таки смогли принять участие в достопримечательной встрече. Бедняги еще не знали, что у нас отобрали паспорта. Мы заявили, что ни на какую встречу не пойдем, пока нам не вернут паспорта.

Кому и зачем понадобилось создавать эту фикцию «культурных связей», насильно втискивая нашу любознательность в официальные рамки? Наши мотивы казались слишком простыми. Политике непонятны обычные человеческие стремления и потребности. Сталкиваясь с такими, она пытается вместить их в какие-то известные ей границы.

Сочетание жары с политикой загнало меня в ванну. Лежа по шею в холодной воде, я — не без злорадного удовлетворения — составлял речь, с которой мог бы теперь обратиться к басрской интеллигенции. «Я приехал сюда, — сказал бы я, — для того, чтобы с волнением, которое сопутствует превращению мифа в действительность, прикоснуться к развалинам Вавилона, своими глазами увидеть Тигр с Евфратом и Багдад — город из „Тысячи и одной ночи“. Я хотел уловить запах дыма ваших кальянов и подышать воздухом базаров. Только таковы были мои намерения. Однако ваши власти усмотрели в них подвох и вынуждают меня выступать в роли мелочного политикана, втягивая в игру, правилами которой являются подозрительность, хвастовство и злая воля».

Ход моих мыслей был прерван стуком в дверь. Стучал стюард, Франек Кава.

— Опять к вам полиция, — с шутливым соболезнованием сказал он. — Они в офицерской кают-компании.

— Пускай убираются. Я принимаю ванну.

— Они говорят, что по очень важному делу. Пан Проминский уже ждет в коридоре.

Действительно, полицейских было человек пятнадцать. Кажется, явились все, с кем нам только приходилось сталкиваться в порту. С револьверами, с дубинками, с четками, которые они нервно перебирали. При виде нас полицейские проявили удивительное рвение, торопливо повскакали с мест, широко скаля зубы в улыбке, и заговорили все разом. Только через несколько минут мы поняли, о чем идет речь. Произошло недоразумение. Они приносят извинения. Наши визы действительны. Мы можем свободно передвигаться по всей Басрской ливе.

В конце концов мы пошли на банкет. Представители интеллигенции ждали нас в холле под пальмами. На первый взгляд они казались похожими друг на друга, как близнецы,— крепко сбитые, коренастые, среднего возраста, с бачками, с усиками, в поношенных табачного цвета костюмах. Все отрекомендовались поэтами. Поэты производили впечатление людей, так же плохо разбирающихся в создавшейся обстановке, как и мы. Не зная, что с нами делать, они принялись водить нас по разным залам гостиницы; мы усаживались то в одном месте, то в другом, улыбались и придумывали, что предпринять дальше. Наконец нас отыскал толстый, обливающийся потом метрдотель. Все с облегчением последовали за ним.

Банкет был устроен по всем правилам. Число официантов превышало число участников. Ломившийся от изобилия блюд стол утопал в цветах, посередине поблескивали бутылки охлажденной польской водки, вид которой вызвал на лицах поэтов выражение полного удовлетворения. Мы начали произносить тосты, лихорадочно пытаясь припомнить хоть что-нибудь о неперенных «связывавших нас узах».

Мариан со свойственным ему присутствием духа обратился к воспоминаниям о пребывании польских войск в Киркуке. Мы на мгновение вздохнули с облегчением. Да, конечно. Польские солдаты — они пьют водку, смеются, ругаются, бегают за девушками и никогда не падают духом. Они навсегда покорили сердца иракского народа. Выпьем за братство!

Когда у всех создается соответствующее моменту оптимистическое настроение, исторические факты перестают иметь большое значение. Тем не менее они продолжают существовать и, если ты с ними знаком, начинают иронически подмигивать. Можно этим забавляться, но

иногда хотелось бы предупредить, обезвредить такое подмигивание. Во имя братства. Я думал о том, как незадолго до прихода наших войск в Ирак англичане подавили там прогитлеровский переворот Рашида Али. Все это было не так просто. Наши союзники были их врагами, наши враги — врагами их врагов и наших союзников. Однако обычая произносить тосты с примечаниями не существует. Может быть, об этом стоит пожалеть. Может быть, братские чувства от этого только выиграли бы, так же как оказанное в ту пору польским солдатам гостеприимство выигрывает на фоне прочих неблагоприятных обстоятельств.

Банкет шел по плану. Мы ели шиш-кебаб и цыплят, мороженое и фрукты, которые ополаскивали в серебряных тазиках, наполненных раствором марганцовки. За кофе наши «интеллектуалы» — все до одного — вытащили блокноты и авторучки. Как оказалось, они были не только поэтами, но и журналистами, то есть поставляли материал в единственную басрскую газету и редактировали ее. Постепенно я начал их различать. Один, пожилой и толстый, отличался довольно оригинальной небрежностью в одежде (узел его галстука был спрятан под распахнутым воротником, а пиджак застегнут не на ту пуговицу), а также каким-то добродушным пренебрежением ко всему. Мне даже показалось, что при особенно официальных тостах в его глазах на мгновение вспыхивали веселые огоньки. Позднее к нам присоединился юноша лет двадцати в мундире кадета военно-морского флота — очевидно, брат или племянник кого-нибудь из поэтов. Он ничего не записывал и не выступал с официальными заявлениями. В вопросах, которые он задавал, чувствовались молодость, легкомыслие и — что было приятнее всего в той обстановке — отсутствие политической подготовки. Его интересовало, любят ли в Польше джаз, танцуют ли твист и играют ли в регби. Однако вооруженные блокнотами поэты почти не давали ему возможности вставить словечко. Ими верховодил мужчина с поразительно низким лбом и чрезвычайно длинными баками; его широкое лицо, составленное из грубых несимметричных углов, напоминало некоторые скульптуры Дуниковского. «Выудив» у нас анкетные данные, перечень наших наград и названий книг, он приступил к самому настоящему допросу.

— Что думает польский народ об иракской революции?

Вопрос был обращен ко мне, однако я не считал себя уполномоченным выступить от лица всего польского народа.

— У нас в стране,— дипломатично ответил я,— существует традиционная привязанность к республиканской форме правления. Поляки предпочитают республику монархии.

Поэт на секунду задумался, очевидно пытаюсь понять истинный смысл ответа, после чего начал торопливо вычерчивать свои закорючки, бормоча при этом: «Польский народ с энтузиазмом приветствовал иракскую революцию; создание нашей республики привело его в восхищение, поскольку, подобно нам, он ненавидит империализм и солидаризируется со всем, что ведет к его уничтожению».

Оставшись доволен, он опять наклонился ко мне:

— А какое впечатление произвело в Польше известие о нашей революции?

Я с облегчением вздохнул:

— Не знаю. Меня тогда не было на родине.

— А где вы были?

— В Соединенных Штатах.

Все взгляды настороженно и недоверчиво устремились ко мне.

— Что вы там делали?

— Принимал участие в семинаре одного университета.

— И там вы узнали о нашей революции?

Вдаваться в подробности не имело смысла. Я только кивнул головой, хотя мог кое о чем рассказать, и притом весьма обстоятельно. В тот день мы посетили в Бостоне редакцию «Крисчен Сайнс Монитор» — одну из самых удивительных в мире. Я вспомнил — и снова увидел перед собой — освещенный изнутри огромный стеклянный глобус в круглом зале, похожем на часовню какого-то рационалистического культа, увидел узкую железную галерею, по которой можно пройти вокруг глобуса. Я видел лица редакторов, отмеченные важностью и энтузиазмом старомодных гуманистов; я вспомнил их облики, часто со следами болезней, которые исповедуемая ими вера запрещает лечить. Я даже помнил хромого наборщика с седеющими волосами, который в типографии дал мне

еще влажный оттиск первой газеты с передовой статьей об Ираке. В «Крисчен Сайнс Монитор» описания неожиданных поворотов истории звучат сдержанно, почти как биржевые отчеты. Там никогда не говорится об убийствах, слово «смерть» исключено из обихода членов секты «христианских ученых». Поэтому в той статье я прочел, что король Фейсал и его премьер Нури Саид «устранены».

Гораздо больше подробностей я нашел в вечерних американских газетах. В них даже были помещены фотографии трупа Фейсала, привязанного за веревку к военному джипу, протаскивавшему его по улицам Багдада. В газетах описывалось, так толпа растоптала Нури Саида, старого соратника Лоуренса, создателя современного Ирака, опоры багдадского пакта. Я хорошо помнил, как вечером того же дня участник семинара, депутат иракского парламента, Аль Аскари собирал чемоданы и прощался с нами на спортивной площадке Гарвардского университета. Мы спросили, сторонник ли он переворота, но Аль Аскари не хотел отвечать. «Ситуация еще не ясна», — пробормотал он, очевидно размышляя о том, предстоит ли ему кого-то топтать или самому быть растоптанным. Я пожелал ему избежать обеих возможностей.

Тем временем изобретательность поэтов истощилась, и Мариан воспользовался этим, чтобы перехватить инициативу. Мы в свою очередь начали задавать вопросы, пользуясь собственным образцом анкеты, выработанным практикой традиционных встреч «за рюмкой вина», которые наш Союз писателей устраивает для иностранных литераторов.

«Каковы у вас условия издания книг?», «Какие тиражи?», «Много ли книг переводят?», «Что охотнее всего читают?» Это был ритуал. Мы вовсе не собирались отыгрываться на хозяевах. Смущение, в которое мы их повергли, в результате поставило в неловкое положение нас самих. После каждого вопроса они долго совещались между собой. Отвечали неохотно. Ни о каких отношениях с издательствами им и говорить не приходится. Поэты печатают свои стихи в газетах. Романов никто не пишет — не могут себе позволить. Впрочем, охотнее всего в Ираке читают Коран. Что же касается переводов — конечно, переводятся школьные учебники; в настоящее время только в них существует реальная потребность.

Тема оказалась окончательно исчерпанной после вопроса Мариана о популярности сатиры. Пришлось до самого конца банкета объяснять нашим собеседникам, о чем идет речь. Когда мы наконец стали прощаться, тучный «интеллектуал» в криво застегнутом пиджаке, пожимая мне руку, тихо произнес:

— Видите ли, не над всем можно смеяться.

Я понял его.



На следующий день рано утром к нам явился скептически настроенный толстяк полицейский с сообщением, что сам директор порта — лицо весьма значительное, ибо он и генерал и один из руководителей революции, — желает видеть нас у себя. Через несколько минут мы уже сидели в увешанном персидскими коврами, превосходно охлаждаемом вестибюле, по которому время от времени на цыпочках пробегали облаченные в мундиры подчиненные великого мужа. Наш приятель подготавливал нас к встрече. Генерал, по его словам, — человек простого, солдатского нрава. К нему достаточно обращаться «ваше превосходительство». Кроме того, он пишет стихи. Сборник его произведений получил очень высокую оценку.

Внезапно дверь кабинета распахнулась, и через приемную прошествовали десятка полтора черных как смоль гигантов в белоснежных рубашках и фланелевых брюках. Это была команда американских баскетболистов — мы видели в городе афиши, возвещающие о турне «черных молний». Подошла наша очередь. Адъютант в белом мундире гостеприимным жестом пригласил нас войти.

Генерал поднялся за своим массивным, как блиндаж, письменным столом. Он пожал нам руки, после чего мы уселись на стоящий у стены диван. Принесли необычайно крепкий и ароматный кофе в маленьких чашечках, приготовленный по специальному арабскому рецепту. Напротив нас, посреди комнаты, сидел переводчик в скромном мундире без знаков различия.

Генерал подошел к висящему на противоположной стене плану города и без всякого вступления начал рассказывать. Вот квартал, застроенный домиками для портовых рабочих. Каждая семья живет в отдельном доме.

Они бесплатно получают одежду и питание. Государство обеспечивает их велосипедами. Раньше, во времена монархии, рабочие жили, как скот; множество людей умирало от туберкулеза. Здесь строится новая больница, а там — школа. Повыше, на острове, раскинется огромный парк с плавательными бассейнами, спортивными площадками, площадями для народных гуляний. Тут будут построены новые бассейны, а там — доки. Торговые обороты возрастут в десятки раз. И все это благоденствия джумхурии. До революции Ирак был по существу английской колонией. Англичане присваивали все богатства страны. В этом кабинете сидел английский директор, месячный оклад которого превышал годовой бюджет семьи иракского служащего. Придя к власти, мы выкинули отсюда его и ему подобных. Мы сказали им: «Стали бы вы терпеть, если б в вашей стране иностранец зарабатывал больше англичанина?» Они не смогли ничего на это ответить.

Генерал сел за стол и долго смеялся, положив на сухо волосатые руки.

— Я рад, — наконец произнес он, что вы приехали и можете собственными глазами увидеть наши достижения. У вас есть какие-нибудь вопросы?

Когда я попросил его разъяснить какую-то мелочь, он с улыбкой указал на переводчика. Несколько минут мы вели беседу через посредника. Потом генерал опять поднялся и неожиданно вкратце повторил свою предыдущую лекцию по-английски, гортанно, но совершенно правильно произнося слова. На этом аудиенция закончилась. Однако, прежде чем мы успели распрощаться, великий человек нажал кнопку звонка, и в дверях появился вытянувшийся в струнку солдат.

— Мой автомобиль в вашем распоряжении, — сказал генерал. — Шофер провезет вас по новым районам Маргиля. А может быть, вы еще что-нибудь хотите посмотреть?

Мне припомнилась открытка с видом старой мечети со странным шишковатым куполом, которую я видел у Стшелецких.

— Мы бы хотели осмотреть Зубайр, если можно, — сказал я.

Вопрос был сделан наудачу. Мне объясняли, где находится мечеть, но я успел это забыть.

Генерал и ухом не повел:

— Хорошо. Прикажете туда захватить.

С такой легкостью полученное разрешение придало мне наглости:

— А можно взять с собой фотоаппараты?

Он слегка приподнял брови, но ответил быстро, без малейшего колебания:

— Конечно. Такого запрета не существует.

Объезд новых районов Маргиля занял у нас не больше получаса. Чистенькие домики стояли в небольших садиках. По сравнению с сарифами они казались виллами миллионеров. Пустыня в конце частично застроенных улиц была изрыта ямами для новых фундаментов и рвами, указывающими расположение будущих артерий. Для приезжих из Польши такая картина не представляет ничего необычного, поэтому мы не сердились на шофера за бешеную скорость, которую он развивал.

От ворот порта мы бегом помчались за своими фотоаппаратами. Нам не хотелось терять ни минуты. На этот раз мы гордо и демонстративно несли аппараты у всех на виду. Тем не менее часовой винтовкой преградил нам путь и потянулся к моей «экзакте», жестами показывая, что это запрещено. Мы призвали на помощь поджидавшего нас тучного поэта. Отголоски оживленной дискуссии привлекли из караулки дежурного офицера.

— Нам разрешил сам генерал,— говорили мы.— Этот господин свидетель. Кроме того, нас заверили, что никакого запрета не существует.

Поведение нашего интеллигента показалось мне несколько странным. Он вздыхал, покорно кивал головой, тоном смущенного ученика бормотал что-то по-арабски. Офицер отнесся к нему с явным пренебрежением. Вокруг нас собралась большая толпа скучающих полицейских. Они во весь голос принялись комментировать инцидент и давать советы офицеру. Тот в конце концов пришел к выводу, что для решения вопроса следует обратиться к начальнику, капитану. В сопровождении вооруженного винтовкой караульного мы направились к расположенному неподалеку зданию жандармерии.

Встреченные доброжелательнейшей улыбкой, мы уселись напротив капитана, который, прежде чем мы успели раскрыть рты, крикнул что-то в дверь, ведущую в соседнюю комнату.

Я принялся излагать суть дела. Капитан прервал меня жестом гостеприимного хозяина. На пороге появился служащий с двумя бокалами чая.

Мариан слегка подтолкнул меня локтем. Его взор был устремлен под стол. Взглянул туда и я. Ступни капитана покоились на деревянной подставке. Меня охватили дурные предчувствия.

— Вы говорите, господа, что генерал разрешил вам фотографировать? В таком случае все в порядке, я сейчас же отдам соответствующее распоряжение. Позвольте только, я позвоню генералу. Это пустая формальность. Ведь я всего лишь скромный служащий и не могу принимать самостоятельных решений.

Мы потягивали теплый чай, недоверчиво следя за тем, как он набирает номер, прислушиваясь к непонятным словам, с уважением обращенным к трубке.

Когда он ее положил, мы торопливо поднялись:

— Мы можем идти?

Он огорченно развел руками:

— К сожалению, господин генерал ничего об этом не знает.

Тут я вспылил.

— Хорошо,— сказал я.— Впредь мы не будем столь наивны. А теперь отнесем аппараты.

— Нет, нет, не делайте этого,— запротестовал капитан.— Попробуем все уладить. Я направлю вас к моему начальнику.

По-прежнему в сопровождении полицейского мы покинули контору, свернули за угол, поднялись по другой лестнице. Там нас ожидал чиновник рангом повыше, под его письменным столом — точно такая же подставка для ног. И сразу же нам принесли чай в бокалах.

Мы с ходу нагло бросились в наступление:

— Пожалуйста, скажите нам, существует ли запрет фотографировать?

— Запрета нет,— спокойно ответил офицер,— но существует распоряжение...

— Так что же мы должны делать?— перебил я его.— Сначала мы получаем разрешение, а потом его отменяют. От кого это в конце концов зависит?

Офицер потянулся к телефону:

— Подождите минутку. Я позвоню в Багдад.

— О нет! У нас нет времени. Автомобиль ждет.

— Ну и что? Пускай ждет.

У Мариана окончательно лопнуло терпение:

— Благодарим. Мы отнесем аппараты.

— Минуточку,— сказал офицер.— Я хочу вам помочь. Не стоит так сразу приходить в отчаяние. Знаете что? Лучше всего возвращайтесь-ка к коменданту портовой полиции. У него есть специальные полномочия в этом отношении. Он вам непременно все устроит.

Комендант принял нас в низком бараке на другом конце порта. Он был толст и кудряв, темно-зеленый мундир с трудом сходил на его животе. У входа в кабинет висела стеклянная витрина с наручниками разной формы, а на письменном столе лежала солидная ременная плетка с перламутровой рукояткой. Ноги сановника, конечно, опирались на подставку. Он любезно предложил нам сесть в удобные мягкие кресла. Принесли неизменный чай в бокалах, на который мы уже не могли смотреть. Мы решили отказаться от аппаратов. Однако комендант и слышать об этом не хотел.

— Я сделаю все, что смогу,— добродушно обещал он.

Отложив в сторону свои «китабы», он принялся вызывать и куда-то посылать служащих, звонить в разные места. По выражению его лица невозможно было понять, движется ли дело вперед. Время шло, но мы ждали, потому что отказываться от проявления доброй воли было как-то неловко.

Внезапно в кабинет вошел служащий в штатском с внешностью тайного агента. Мы вздрогнули. В руке у него была репортерская «лейка» в футляре. «Лейка» болталась на ремне, и казалось, что чиновник тащит за уши убитого на охоте зайца. Не произнеся ни слова, он уселся за свободный письменный стол меньшего размера, положил перед собой трофей и выдвинул ящик. Из ящика он вытащил клещи. С ужасом мы смотрели, как он расстегивает футляр, а потом клещами добирается до внутренних частей аппарата. Наше решение созрело молниеносно. Мы встали, вышли из кабинета коменданта и отнесли аппараты на пароход.

Шофер дремал за рулем, толстый поэт терпеливо потел на скамеечке в тени растущей невдалеке акации. Он приветствовал нас сконфуженной улыбкой. Мы молча уселись в машину.

— Зубайр,— бросил поэт водителю.

Через мгновение мы с сумасшедшей скоростью мчались по раскаленной пустыне.

— Все-таки не получили вы разрешения, — печально сказал наш спутник.

— Не могу понять, в чем дело, — с раздражением ответил я.

— Это из-за нефтяных разработок.

— Чепуха. В той стороне нет никаких нефтяных разработок. Впрочем, зачем они нам? А англичанам и так все о них известно — сами закладывали.

Неожиданно поэт утвердительно кивнул головой. Потом, украдкой взглянув на шофера, наклонился ко мне.

— Слишком много у нас полиции, — вполголоса произнес он. — Мне это тоже не нравится. Я — за свободу. Мои симпатии на стороне социализма.

Последнее слово он почти прошептал. И внезапно неестественно оживился.

— О, смотрите, башня Синдбада! — воскликнул поэт.

Перед нами среди бледно-желтых песков торчала круглая, разрушившаяся с одной стороны башня с прилегающим к ней остатком стены. На песчаном холме по другую сторону шоссе бесформенной грудой лежали еще какие-то развалины. Это было все, что осталось от древней Басры, — башня мечети и обломки медресе. Наверно, этой мечетью восхищался когда-то Ибн Баттута... Но широкие улицы, сады и базары, о которых он упоминал, исчезли бесследно. Не осталось также ничего от воспетого странствующими пилигримами доверчиво-дружелюбного отношения жителей Басры к чужеземцам.

Наш поэт неохотно согласился остановить машину, а когда мы вылезли и направились в сторону развалин, попытался удержать нас на шоссе.

— Там нет ничего интересного, — восклицал он, нервно озираясь по сторонам, — старые стены, старые кирпичи.

Видя, что мы не уступим, он с несчастным видом плелся за нами. У стен мечети валялись истрепанные плетенки из пальмовых листьев — вероятно, коврики для молитв, — на самой же стене, на высоте вытянутой руки, виднелись какие-то бурые пятна.

— Что это? — спросил я.

Поэт сделал вид, что не заметил моего жеста, и устался на макушку башни.

— О, это старая мечеть,— сказал он.— Ей две тысячи лет.

— Не может быть,— ответил я.— Ведь исламу всего тысяча триста.

Его смущение усилилось.

— Да, да. Конечно,— пробормотал он.— Я ошибся.

Мне было жаль толстяка, но уступать не хотелось.

— А это?— Я еще раз указал на бурые следы на стене.

— Ах, это?— усмехнулся он и пожал плечами, как человек, снисходительно относящийся к предрассудкам.— Это так, пустяки. Видите ли, женщины, которые хотят иметь детей, приходят сюда молиться и оставляют такие знаки. Это старое народное поверье.

Опасаясь дальнейших расспросов, он повел нас на другую сторону шоссе, торопливо поясняя, что медресе — гораздо более интересный памятник старины. Когда-то оно славилось на весь халифат.

Только в машине, закурив, мы все почувствовали облегчение. Машина мчалась все быстрее и быстрее, но стрелки на спидометре не было, и поэтому развиваемая нами скорость осталась еще одной тайной Востока.

Вдали перед нами предстал Зубайр — громада кубической формы и цвета песка. Над плоскими крышами возвышалось несколько минаретов и куполов, покрытых блестящей зеленой и желтой черепицей. Мы сразу почувствовали успокоение, какое обычно приносит вид настоящего ценных вещей. Здесь все было искренним и подлинным. Здесь сохранился стиль.

Мы ехали по узким ущельям улиц, окаймленным глиняными стенами без окон. Под крышами домов рядами торчали концы стропил. В четкой полосе тени, падающей на край мостовой, изредка мелькали белые одежды прохожих. Именно по таким местам путешествовал Ибн Баттута.

Мы пересекли центр старой застройки, компактный и монолитный, как памятник арабского средневековья. Перед нами лежала неправильной формы площадь — утрамбованная развилка дорог пустыни. Дальше тянулась низкая глиняная стена, за которой я увидел ту самую шишковатую башню, что была изображена на открытке. Башня была цилиндрической по форме, слегка сужающейся кверху, с крошечными зубцами. Рядом возвышались два глиняных купола разной величины. Мне

казалось, что башня должна быть очень большой, и ее миниатюрные размеры поразили и растрогали меня. Она напоминала древнее ласточкино гнездо необычайно изысканной формы. Мы остановились у ворот кладбища. Широкий проход между беспорядочно разбросанными могилами вел к мавзолею — гробнице какого-то жившего в далекие времена набожного имама. Надгробные камни были засыпаны песком. Перед кирпичным домиком могильщика стояло каменное корыто для ритуальных омовений. Могильщик — босоногий старик в пестрой чалме — распахнул перед нами двери мавзолея. Мы оказались в сводчатой низкой келье. Прикрытый выцветшей зеленой тканью гроб имама был похож на кровать. Сумрак помещения прорезали проникавшие сквозь узкие окошечки полосы света; в них плясали пылинки. Я так и не сумел проникнуться ощущением святости этого места. Мне, видимо, чего-то не хватало, чтобы я мог дополнить своим воображением убогую картину.

Засунув руки в карманы, поэт бросал по сторонам тоскующие взгляды — казалось, его насильно оторвали от несравненно более интересных дел. Я выразил свое искреннее восхищение архитектурной формой мавзолея. Он ответил на похвалу ничего не выражающей улыбкой.

— Завтра утром я за вами заеду, — сказал он. — Покажу вам городскую библиотеку, школы. Это, наверно, вас заинтересует?



В вестибюле городской библиотеки под стеклом висели карты, составленные средневековыми арабскими географами. Для одиннадцатого и двенадцатого веков уровень их знаний о мире был необычайно высок. Контуры континентов Евразии и Африки почти не отличаются от тех, которые изображают современные картографы. В витринах лежали старые книги — пергаментные фолианты Корана, украшенные тонким, ярким, как эмаль, орнаментом. Рядом, в просторной читальне за длинным столом сидело двое молодых людей. Они перелистывали иллюстрированные журналы. Со стен глядели серьезные бородатые лица умерших много веков назад поэтов, ученых и толкователей священного писания. Ощущение зияющей пустоты между их временем и сегодняшним

днем было почти осязаемым. Что стало с арабской культурой? Почему она внезапно перестала развиваться? Можно ли возложить всю ответственность на турок? Наш знакомый и его приятель-музыкант, который в тот день возил нас на своей машине, сваливали на турок вину за те несчастья и лишения своего народа, которые нельзя было приписать англичанам. Трудно выносить приговоры на процессах, где судьей выступает история. Причины неудач всегда находятся очень легко, а вот неиспользованные, погубленные возможности учитываются чрезвычайно редко.

В библиотеке мы занялись изучением этого «поворота истории». Заглянули мы и в каталог. Если в витринах сохранились следы средневековой святыни, то в каталоге не было ничего, что могло служить их подтверждением. Научно-популярная западная литература, энциклопедии, несколько детективов. Современная национальная литература была представлена политически-пропагандистской и информационной публицистикой и брошюрами вроде тех, что раздают в бюро путешествий и приемных дипломатических представительств. Нас щедро одарили этими брошюрами, заполненными фотографиями Кассема, снимками военных парадов и строящихся промышленных объектов, а также оптимистическими статистическими данными. Язык брошюр представлял собой своеобразную смесь восточной риторики с барочным стилем митингов. Текст пестрел пышными определениями, применяемыми согласно официально установленным правилам. «Великий Арабский Народ», «Надежный лидер», «Бессмертная республика». Только так, и не иначе. Такими же были и подписи под снимками. Украшением этой коллекции служил маленький альбомчик, выражающий «идеи Вождя в рисунках».

Если б эту публикацию нам вручили в Египте или Кувейте, мы бы безусловно приняли ее за сатиру на режим Кассема. Даже здесь, перелистав несколько страничек, я вопросительно поглядел на наших хозяев. Библиотекарь одобряюще улыбался. «Хорошо, верно?» Губы толстяка поэта искривила нерешительная смущенная гримаса, более красноречивая, чем наивный энтузиазм других. Это была не сатира, а пропаганда. Патриотический «комикс», метко иллюстрирующий отрывки из многочисленных выступлений Вождя. Сам Вождь, бра-

вый, улыбающийся, с буйной шевелюрой, галантными усиками и неизменным револьвером у пояса, фигурировал на большинстве рисунков. Держался он как энергичный и добрый наставник. Мы увидели его изображенным на велосипеде с своеобразным прицепом, в котором он вез свой народ к светлому будущему. Рядом мчался с ним наравне «свободный мир» (этот термин никак не был уточнен в подписи) на еще более условном мотоцикле. На некоторых рисунках Вождь, сжимая в руке кирку, стоял на сферической поверхности глобуса возле только что пробитого отверстия. Из этой дыры с силой, как из кратера вулкана, били дотолле скрытые богатства иракской земли: монеты, пачки банкнотов, целые мешки динаров. Вождь широким жестом приглашал взглянуть на это извержение, а худосочный Народ в заплатанной галабии замер от удивления.

И конечно, враг был представлен во всех классических обликах: в виде человекоподобной обезьяны со стекающей с клыков похотливой слюной, в виде осьминога, гангстера, змея, в виде маленького омерзительного грызуна, тщетно пытающегося атаковать солдатский сапог Нации. И в каждом из своих воплощений он, безусловно, сталкивался с надлежащим отпором — извивался по земле, пригвожденный к ней стилетом, истекая кровью, спасался бегством, залепленный с ног до головы пластирем.

Не было недостатка и в сценах, изображающих счастье в его официальном толковании. Национальные меньшинства радостно плясали сарабанду вокруг государственного флага, причем ближе всего к древку располагались курды — как раз в это время курдов массами уничтожали в их горных деревушках. На другой картинке расцветала горячая любовь к правительству. Граждане в чалмах осыпали поцелуями сладострастно улыбающегося полицейского. Вокруг них так и порхали сердечки и нотки, которые должны были передать звуки звонких поцелуев.

Но наивность и карикатурность далеко не всегда смешны. Стиль этой графики — ее примитивная, неостроумная гротескность, грубая, агрессивная, порой просто пошлая манера, неуклюжий натурализм рисунка — слишком напоминал известные образцы.

Признаюсь, я поддался силе воздействия пропаган-

дистского альбомчика. Причем в такой степени, какую автор даже не мог себе представить. Альбом стал для меня реалистическим символом иракской действительности.

В школе — самой образцовой в Басре, как нас уверяли, — учительницы были одеты по-европейски и не прятали от мира нежных девичьих лиц. Кудрявые ребятишки в чистых сатиновых фартучках вставали при появлении гостей и хором выкрикивали заученное приветствие. У доски они смело отвечали урок чистыми детскими голосами. Когда смотришь на семилетних людей, кажется, что всего еще можно добиться, что ни одна возможность взаимопонимания не потеряна. Смуглые малыши с блестящими веселыми глазками были просто очаровательны. На стенах висели их рисунки, точно такие же, какие рисуют дети во всем мире, — прелестные, подкупающие своей искренностью, необычайно выразительные, трогательно смешные, сулящие бог знает какие открытия. Директор школы предупредила нас, что мы увидим здесь самые современные педагогические методы, которые позволяют свободно, без напряжения развивать способности ребенка. Вот, кажется, наступил удобный момент продемонстрировать один из них. Учительница ударила по кафедре указкой и отдала какое-то краткое приказание. Все головки опустились на скрещенные на партах руки, глаза закрылись, класс «погрузился» в глубокий сон. Еще один окрик — ученики «пробуждаются» и шумно скандируют: «Проснемся как герои!» Это был первый этап дрессировки, поэтическое вступление, очевидно имеющее в виду победу джумхурии над монархией. Последовали рассказы о снах. Молодые граждане, все как один, видели необычайно поучительные и правильные сны. Одной девочке приснилось, что Вождь погладил ее по голове. Ее менее созерцательно настроенный товарищ видел новую автостраду, проложенную в пустыне. Кому-то из детей приснилось присоединение Кувейта.

По деревянной галерейке, опоясывающей двор на уровне всех этажей, мы переходили из класса в класс. Нас поразило превосходное произношение учеников на уроке английского языка. В другом классе дети писали сочинение на тему: «Чем мы обязаны джумхурии?».

В тот же день, когда мы вернулись на корабль, нам принесли паспорта. В первый момент мы решили, что это дальнейшее проявление генеральской милости. Но поли-

цейский чиновник, который нам их вручил, пояснил, что наши визы все же оказались недействительными и мы больше не имеем права сходить на берег.



Хочу рассказать еще о полиции. Как мне кажется, это позволит кое-что понять в образе мышления жителей этой страны и взглянуть на них менее критично.

Мы ехали в Фао с инженером Срочинским и по дороге завернули на базар купить фруктов. Ставя машину у входа на базар, инженер Срочинский слегка задел крылом стоящий там грузовик. Царапина была столь незначительна, что хозяин или водитель грузовика скорее всего ее даже бы не заметил. Тем не менее Срочинский решил возместить ущерб или по крайней мере извиниться. Он вышел, чтобы отыскать водителя. Однако вместо него перед нами появился полицейский. Другой уже бегом пробирался между ларьками рынка. В одно мгновение нас окружила густая толпа. Она была настроена ничуть не враждебно. Многие добродушно улыбались, но общее возбуждение было совершенно непропорционально причине. Полицейские вырастали словно из-под земли. Один из них, с тросточкой под мышкой, удивительно верно усвоил пренебрежительные манеры британского офицера. Бедный инженер даже вспотел, доказывая всем этим представителям власти, что проще всего записать его регистрационный номер, — и дело будет улажено. Полицейские обсуждали это предложение, милостиво выслушивали мнение собравшихся, а время шло. Наконец, минут через двадцать, тот самый элегантный полицейский с тросточкой сел в машину и приказал нам ехать в районное отделение.

Последней нашей вылазкой из Басры была поездка за сорок километров к югу по шоссе, бегущему среди пальмовых плантаций и зарослей уже расцветших красных и белых олеандров. Проехали мы и участок пустыни, по которому в облаках нагретой вечерним солнцем пыли брели небольшие стада баранов.

Возвращались ночью, при призрачном свете луны. Теперь плантации казались лесом. Темнота скрыла истоптанную засохшую тину у подножий деревьев и бесчисленные сарифы и палатки, расположившиеся в их тени.

В неуверенном дрожащем свете мерцающих у самой земли огоньков мелькали архаические фигуры. Кажется, здесь жили главным образом иракские граждане, высланные из Кувейта. «Сидя на низких берегах вавилонских вод», подобно соплеменникам Авраама, они ждали перемены судьбы.

Нелегко нам было расставаться с нашими друзьями. Последние дни были заполнены взаимными визитами. Дети басрских поляков облазили каждый уголок «Ойцова» и знали наперечет всех членов экипажа. Каждый вечер кто-нибудь пил с новым приятелем «на брудершафт». Тем временем по течению Шатт-эль-Араба к нам подплыли баржи с льняным семенем.

Это были широкие деревянные шлюпы, имевшие форму старинных галер. Жизнь их команд во время погрузки протекала на наших глазах. Мы видели, как они молились, стирали белье, готовили пищу, совершали омовения. На носу каждого шлюпа находилась глиняная, похожая на бочонок печка, на которой сплавщики пекли замешанные на речной воде лепешки. Амеб они не боялись, а может, и не подозревали об их существовании. Боялись они только акул, которые поднимаются по реке из Персидского залива до самой Басры и, по словам Анджея Стшелецкого, часто плотно забивают турбины электростанции.

Краны неутомимо поднимали мешки с семенем и ящики с финиками, трюмы заполнялись, моторка агента носилась между кораблем и берегом. Однажды вечером маленький буксир с высокой трубой увел пустые баржи. На следующий день на рассвете, лежа у себя в каютах, мы почувствовали толчок от первых оборотов винта. В одних пижамах мы выскочили на палубу. Было пять часов утра. Мы медленно двигались по течению, постепенно удаляясь от высокого элеватора Асхара. Я знал, что позади него лежит круглая площадь, а немного подальше — мостик через канал, служащий границей собственно Басры. Среди пальм уже виднелись плоские крыши домов района вилл. Не далее чем вчера мы со Стшелецкими и Подгурскими наблюдали, как ремонтируют террасу в их доме. Женщины в черных одеждах носили на головах кирпичи и сосуды с раствором извести, а потом стелили пол, в то время как десятник, праздно сидя на корточках и покуривая сигареты, присматривал за ними.

Какой же из этих домов мог быть их домом? Вдруг Мариан схватил меня за плечо:

— Вот, вот они! Посмотри!

Среди пальмовых ветвей бурно развевались белые полотенца и простыни. Несмотря на ранний час, там собрались все, даже дети.

«Ойцов» вздохнул и наполнил воздух троекратным трогательным прощальным ревом.

НЕФТЯНЫЕ МИЛЛИОНЫ

Воздух над Абаданом пахнет нефтью, вода у берега отливает всеми цветами радуги. Мы еще не успели войти в порт, а в кают-компаниях и на палубах появились таблички с предупреждением «No smoking»*. На набережной суетятся люди в белых комбинезонах и алюминиевых шлемах. Мы остановились, чтобы запастись нефтью и водой. Эта процедура занимает целый день.

Иранские власти еще более недоверчивы, чем иракские. Нам не разрешили сходить на берег. Но наш агент, ловкий веселый итальянец, не желал считаться ни с какими запретами. Он отвел нас к неохраняемой калиточке в изгороди, окружающей сады Дома моряка. За калиткой стоял его автомобиль.

Казалось, что город всеми силами старается смягчить впечатление, создающееся из-за нефтеперерабатывающего завода, окружившего порт сплошным барьером разнообразных блестящих труб и бензохранилищ. Его широкие улицы, по которым нескончаемым потоком несутся современные автомобили, окаймлены живыми изгородями, дома утопают в зелени садов. Он вполне мог бы сойти за один из деловых, живущих идеалами бизнеса и комфорта городов Запада. Только базар сохранил восточный характер, хотя он и вполтину не такой оживленный и шумный, как базары Карачи или Басры. Убогие, сбившиеся в тесную кучу домишки с террасами на крышах, неглубокие ниши лавчонок, торговцы, попивающие кофе в их тени, и ковры — самые настоящие персидские ковры, темно-красные, с мелким черным узором. Они разостланы на тротуарах и висят на стенах, свешиваются с при-

* Не курить (англ.).

лавков магазинов, свалены в кучу в набитых тюках. Такое обилие ковров заставляет (пожалуй, обоснованно) предположить — не налажено ли здесь их массовое, фабричное производство.

Виды, открывавшиеся из окна машины, составляли резкий контраст с нашими недавними впечатлениями от Басры. Только полицейские казались удивительно похожими. Такие же вездесущие, столь же многочисленные, почти в таких же зеленых мундирах, с точно такими же деревянными дубинками.

Но видам из окна доверять нельзя. Мы пили потом кока-колу с агентом в Доме моряка, и он рассказывал о местных условиях жизни. Теперь мы могли представить себе Ирак перед свержением монархии. Та же самая привередливая бюрократия, замучившая население противоречивыми распоряжениями, запрещение передвигаться по стране без пропусков, доносы и аресты, крайняя нищета в деревнях.

В саду Дома моряка в Абадане превосходный бассейн. Мы плавали в нем при свете ярких ламп под бархатным ночным небом. Неподалеку на свежем воздухе перед экраном были расставлены скамейки. Сразу же за живой изгородью прожекторы выхватывали из темноты детали палубных надстроек кораблей, краны и шланги нефтяных насосов, фантастические очертания подъемных кранов. Из громкоговорителя доносился постоянно сопутствовавший нам в этом путешествии голос Далиды: «*Mon Dieu que j'aime ce port au bout du monde...*» *.

Когда, прыгнув с трамплина, я высунул голову над водой, до моего сознания внезапно дошла мысль, которая наполнила меня чувством гордости: да ведь я в Иране, в Персии!

Вдохнуть бы аромат роз Хафиза... Но в саду Дома моряка тоже пахло нефтью.



Почти всю ночь мы простояли на якоре недалеко от устья Шатт-эль-Араба. На корме каждые несколько минут раздавалось металлическое дребезжание гонга.

* «Боже, как я люблю этот порт на краю света...» (франц.)

Выйдя утром на палубу, я почувствовал страшную духоту. Наше судно было облеплено таким густым желтоватым туманом, что верхушки мачт растворялись в нем. С разных сторон доносился неясный звон и хриплый рев других попавших в плен кораблей. Капитан стоял возле штурвальной рубки. Очертания его фигуры дрожали, окутанные медленно плывущими клочьями тумана. Казалось, он чувствует себя очень одиноким. Только на корме, перегнувшись через борт, стояли еще несколько человек. Время от времени оттуда долетал голос боцмана, выкрикивавшего какие-то цифры. Внезапно это сонное царство оживилось. Фигуры на корме распрямились и начали возбужденно жестикулировать. Капитан исчез. Затрещал звонок, и судно вздрогнуло от биения пульса проснувшейся машины. Не двигаясь с места, мы вспенивали бурюю воду. Под нами что-то грохотало, по вибрации мотора чувствовалось, что он преодолевает яростное сопротивление. Палубы ожили. Вахтенный офицер мчался с плотником на нос к брашпилю. В воздухе висели восклицания, звонок дребезжал с удвоенной силой. Наконец корма «Ойцова» начала медленно перемещаться по кругу.

В то утро капитан не пришел завтракать. Судно то застывало в летаргическом сне, то начинало метаться, пытаясь вырваться из трясины прибрежных отмелей, на которые его выносило течение реки. Я совершенно потерял ориентировку. В штурвальной рубке радар рисовал линию берега — он был так близок, что мы почти касались его — и продолговатые пятна других кораблей, неподвижно стоявших около нас. Взгляд бессильно тонул в мягкой мгле.

Около девяти часов туман начал редеть, а потом, буквально за несколько минут, исчез, впитался в жаркую лазурь неба. С палубы около кают-компания казалось, что наша корма вздымается над болотистой почвой. Какие-то люди в грязных чалмах, задирая головы, разглядывали наше судно. По реке разносились скрежет и грохот свертываемых якорных цепей. После получасовых усилий нам удалось вырваться на свободное течение. Позади нас два корабля — норвежский и японский — так и остались неподвижно стоять на мели.

Мы тихонько двигались по илистой пойме реки. Она была здесь такой мелкой, что порой нам попадались

рыбаки, бредущие по колена в воде всего в нескольких десятках метров от нас. Наконец, около полудня, мы вышли в молочно-зеленые воды Персидского залива. Над удаляющимся берегом стоял легкий фиолетово-розовый туман, цвет которого, сочетаясь с окраской моря, создавал необычно утонченную гамму оттенков, встречающуюся лишь на персидских миниатюрах.

В Кувейт мы пришли на закате. Последние отблески дня зажигали на далекой суше бесчисленные окна зданий. Как только сгустились сумерки, явился лоцман. Порт сверкал белыми огнями. Ряды новых просторных складов прерывались стройными высотными домами; некоторые из них были еще в лесах. На набережной в ожидании толпились кудрявые смуглые рабочие в выцветших штанах и пропотевших фуфайках. У каждого через плечо был перекинут узелок. Едва мы коснулись бортом набережной, они бросились к нашему судну и, не дожидаясь, пока спустят трап, перепрыгивали прямо через релинг*. Казалось, эти люди брали «Ойцов» на абордаж. Действовали они очень быстро и ловко. Здесь не было мундиров — как в Ираке, — но прием, оказанный «Ойцову», производил впечатление превосходно разработанной военной операции. Напротив нас, визжа тормозами, уже останавливались блестящие лимузины, из которых торопливо выскакивали таможенники и портовые чиновники. Сразу же вслед за ними подъехали грузовики. Ничего подобного нам не доводилось видеть еще ни в одной из арабских стран. Немедленно началась разгрузка. Не веря своим глазам, мы смотрели, как в кузовах грузовиков вырастают горы мешков с нашим сахаром. Тем временем в ночи, над белой пеленой портовых огней, разгоралось разноцветное зарево неона. С суши вместе с горячим дыханием пустыни до нас долетало веяние кипучей, быстро текущей жизни.



На переговоры с водителем такси мы затратили массу усилий. Мало того, что в качестве такси нам был предложен роскошный плоский «крокодил» с необычайно длинными заостренными крыльями. Мало того, что

Г

* Релинг — стальной трос, натянутый вдоль борта корабля.

водитель едва понимал по-английски. В довершение всего нам пришлось еще торговаться с набобом в вышитой муслиновой чалме и роскошной нейлоновой рубашке, пальцы которого были унижены золотыми перстнями. Мы хотели, чтобы он повозил нас по городу. Скажем, в течение часа.

Шофер в ответ показывал два пальца — два динара. А динар это ни больше, ни меньше как английский фунт. Два фунта — почти все наше состояние! Мы знали, что не только можно, а просто необходимо спорить из-за каждой копейки. Однако одно дело торговаться с босым «Махмудом» и совсем другое дело здесь. Мы растерялись. Эти остроносые итальянские ботинки, эти перстни, это выражение равнодушия и скуки в глазах! Босоногими феллахами чувствовали себя мы. Борьба казалась нам печально неравной, но у ворот порта, как назло, не стояло больше ни одного такси.

С пропусками у нас не было ни малейших затруднений, но иракский опыт оставил в наших душах травму. Мы склонны были рассматривать каждую возможность вырваться с корабля как единственную и — быть может — последнюю и поэтому не могли решиться на требующийся в таком случае маневр: изобразить полное отсутствие заинтересованности. Кипя от ярости, мы расплывались в умильных улыбках, а голоса наши источали елей. После чрезвычайно долгих переговоров мы сошлись в конце концов на семидесяти пяти фильсах, то есть трех четвертях динара.

Мы не увидели ничего, что заслуживало бы названия портового района. Ни единого признака окраины города, никаких развалин. Несколько километров проложенной в пустыне, разделенной на два ряда автострады — и сразу же начинается сверкающий новизной город, поистине выставка современной архитектуры.

Город еще недостроен, многие дома в лесах. Быстрота его возникновения просто ошеломительна. Словно кто-то выписал себе город и сейчас вынимал его из пакета.

Собственно говоря, все в самом деле обстояло почти в точности так. У нас не было возможности заглянуть в карман к эмиру, но всем известно, что он мог бы себе это позволить. Еще в Европе я слышал, что эмир на своих нефтяных концессиях зарабатывает миллион долла-

ров в день (восемьдесят миллионов тонн ежегодной добычи — это кое-что значит!). Здесь, однако, эта цифра была опровергнута. Не один миллион долларов, а около трех миллионов ежедневно. Легендарный «позолоченный кадиллак» при таких масштабах просто мелочь.

Движение на мостовых очень оживленное; повсюду новейшие модели автомобилей. В глубине боковых улиц, ближе к побережью, встречаются отдельные старые арабские дома из глины. Чаще всего это остатки разрушенных зданий. Если они еще целы, вокруг идут приготовления к сносу.

Несмотря на современные здания и сооружения, несмотря на поистине нью-йоркские магазины ультрамодного французского и итальянского готового платья, многочисленные закусочные и панорамные кинотеатры, европейские костюмы встречаются очень редко. Преобладают черные женские абы, а у мужчин — куфьи и белые рубахи до пят, правда, очень чистые и сшитые из очень дорогих материалов. Верность мусульманской традиции подтверждается также огромным количеством мечетей. Их разукрашенные минареты и купола из легкого цветного бетона, возвышающиеся среди громад всевозможной геометрической формы, кажутся фальшивыми драгоценностями, использование которых ради стилизации старых форм не может создать впечатления старины и ограничивается лишь кокетливым намеком на нее.

Шофер сам выбирал дорогу. Город, в котором по существу сосредоточено все население страны (остальная территория — это нефтеносная пустыня), расположен вокруг торгово-административного центра; он состоит как бы из обширных районов вилл, связанных широкими шоссе. На многочисленных круглых площадях — здесь, как и в Басре, это любимый урбанический мотив — выстроились плотно прижатые друг к другу стройные бетонные конструкции, напоминающие по форме водонапорные башни. Мы узнали потом, что это водосборники, возведенные в первый период строительства города. Теперь они не нужны, потому что вода, которую раньше привозили из-за границы на танкерах, теперь «производится» на месте. Год назад американские инженеры выстроили в порту установки для опреснения морской воды. Сегодня вдоль многих улиц тянутся ряды моло-

леньких, недавно посаженных деревьев, которые ежедневно заботливо поливают садовники магистрата, а в каждом ресторане официант приносит вместе с едой графин пахнувшей хлором воды и несколько демонстративно ставит его перед клиентом. Эта вода — хоть и довольно невкусная — служит для жителей Кувейта лишним основанием для гордости, как ставший обыденным признак их процветания.

Но во время нашей поездки о процветании Кувейта мы могли судить прежде всего по огромному размаху строительства. Возбуждающая атмосфера бума создавалась не только благодаря оживленному движению или силуэтам работающих кранов, заметных в перспективе каждой улицы. Ее красноречивым признаком было разнообразие архитектурных форм. Даже если жилой квартал был запроектирован по типовому проекту, каждый дом отличался от соседнего цветом, формой какой-нибудь второстепенной детали, фактурой штукатурки или материалом отделки.

Перед нашими глазами, словно в гигантском калейдоскопе, мелькали строительные площадки, новые разноцветные поселки, огромные административные здания из стекла и алюминия. Автомобиль огибал все новые и новые площади, мчался по бетонированным шоссе к очередным городским кварталам. Час пролетел незаметно. Мы принялись уговаривать водителя, чтобы он отвез нас в порт. Он делал вид, что не понимает, и гнал машину дальше, в противоположном, как нам казалось, направлении. Когда наконец у ворот порта я протянул таксисту тщательно отсчитанные филсы, он только пожал плечами. Все началось сначала. Два пальца, унизанные перстнями, как ни в чем не бывало требовали двух динаров. Напрасно мы ссылались на нашу договоренность. Когда, вконец измучившись от этой торговли, я вручил франту динар, он с негодованием вернул его мне обратно. В таком случае он не возьмет ничего. Презрительно махнув рукой, он завел мотор. Гениальный психолог! Слово он знал, что имеет дело с поляками. Мы проиграли. Он получил свои два динара.

■

Докеры, которые столь усердно трудятся в порту (хорошо оплачиваемая сдельная работа!), все без исключения — сезонные работники из других арабских стран. Так же как и строительные рабочие. Исконный житель Кувейта не станет утруждать себя подобными занятиями. Его даже за прилавком своего магазина нечасто увидишь. Продавцы, почти как правило, — индийцы, ливанцы или сирийцы. Кувейтец — собственник по призванию. Законодательство страны оговаривает для него право владения землей, домами, торговыми или производственными предприятиями. Кроме того, гражданин Кувейта бесплатно получает квартиру и медицинскую помощь. Больше того, если он посылает детей в школу, государство платит ему за это, а дети в течение всего времени обучения получают материальную поддержку. «Имеющему да воздастся!»

На двести тридцать тысяч граждан страны таких привилегированных приходится около ста пятидесяти тысяч. Остальные — это разновидность современных илотов.

Наш случайный знакомый, индеец, продавец из магазина ювелирных изделий и фототоваров, как-то вез нас в своем элегантном красном кабриолете. Успев уже привыкнуть к сумасшедшей скорости местных таксистов, мы похвалили его разумную манеру вождения. Он улыбнулся.

— Не забывайте, — сказал он, — что я иностранец. Если б я случайно попал в катастрофу, в которой пострадал бы кувейтец, я несомненно проиграл бы дело, даже будучи абсолютно правым. Я не могу рисковать.

Мы познакомились с ним при забавных обстоятельствах. Наши скромные средства были уже на исходе, и Мариан решил продать фотоаппарат. Этой операции мы посвятили целое утро. Задача оказалась непростой, хотя аппарат заинтересовал многих — «Зоркого» здесь еще не видали. И как раз этот индеец решился в конце концов его купить. Однако ему нужно было получить разрешение владельца магазина. Он усадил нас в удобные современные кресла, велел принести кофе — тот самый несравненный, по-особому приготавливаемый кофе, какой пьют только в странах арабского Востока.

— Присмотрите за моими товарами, — сказал он.

Мы остались втроем — Мариан, капитан и я — в прекрасно охлаждаемом кондиционными установками магазине, где в витринах под стеклом сверкали золотые цепочки, броши, кольца и часы, а расставленные по полкам ультрасовременные кино- и фотоаппараты соперничали друг с другом в цене и элегантности.

В течение получаса мы занимались выпроваживанием покупателей, а когда индеец вернулся, деловой визит превратился в светскую беседу. Когда выяснилось, что следующим портом, куда мы должны зайти, будет Бомбей, разговор оживился — покупатель «Зоркого» был родом из Бомбея. Мы спросили его, не собирается ли он туда вернуться. Он, конечно, скучает по родине. Может, когда-нибудь он вернется, если заработает достаточно для того, чтобы открыть в родном городе собственное солидное предприятие. А что, если он решит навсегда остаться в Кувейте? Ну, об этом еще надо подумать. После пятнадцати лет проживания в стране можно получить гражданство, но только при условии, что ты мусульманин. Немусульманин теоретически может стать гражданином Кувейта только через тридцать лет. Наш собеседник проработал тут уже семь лет. Он не принадлежит к числу особенно религиозных людей, но мысль об изменении вероисповедания его отнюдь не привлекает. И все же ему будет тяжело покинуть этот город. Он был свидетелем его рождения, тесно сжился с ним.

Катая нас по городу на своем автомобиле, он замедлил ход на одной из площадей у начала центрального района. Посреди нее мы увидели остаток примитивной глиняной стены с воротами.

— Это оставлено на память, — сказал он. — Семь лет назад, когда я приехал сюда, весь город был окружен такой стеной. Впрочем, его и городом трудно было назвать. Кувейт тогда представлял собой нечто вроде обычного поселения в пустыне. Эти ворота запирались после захода солнца. С наступлением темноты никто не отваживался выходить из города, опасаясь «народа пустыни».

Сколько же представителей этого грозного «народа пустыни» сидели теперь за рулями обгоняющих нас автомобилей? События семилетней давности казались относящимися к глубокой древности. «Когда-то» — наи-

более подходящее в данном случае слово, которое само попахивает стариной — неотвязно преследовало нас. Там, где освещенное яркими лампами шоссе огибало комплекс строящегося университета, его спортивные площадки, скверы и лаборатории (конечно, «только для кувейтцев»), когда-то, семь лет назад, лежала молчаливая, полная опасностей, окутанная мраком пустыня.

Наша поездка окончилась на плотно забитой автомобилями стоянке перед сверхсовременным кинотеатром. Огромный зал, курительные и кафе, микроклимат, паркет, билетеры в красных livреях. Внутри преобладали белые шелковые и муслиновые чалмы, но немало попадалось и европейских дамских нарядов. Вероятно, традиционные абы ждали своих хозяек в автомобилях. Между рядами сновали продавцы мороженого и сладостей.

Фильму предшествовала хроника, почти полностью посвященная актуальным египетским проблемам. Больше всего места занимал репортаж о сессии Лиги арабских стран. По ступеням величественной лестницы дома, в котором проходили заседания, поочередно поднимались живописные фигуры в бурнусах, чалмах и фесках. Когда из черного лимузина вышел Насер — атлетически сложенный, улыбающийся, сказочно элегантный, — в зрительном зале раздались аплодисменты.

Потом шла очень мрачная американская психологическая драма, в основе которой лежал столь модный сейчас на Западе конфликт между старостью и молодостью — безнадежная последняя любовь старика, рассказанная современным языком с примесью притворно-грубой сентиментальности.



Когда-то и в Европе не было магазинов в нашем смысле слова. Вся торговля вместе с ремеслами сосредоточивалась на базаре. В крупных городах в каждом районе был свой базар. Европа отказалась от этой системы в конце средних веков. На Востоке, в особенности на Ближнем Востоке, она сохранилась до сегодняшнего дня — скорее как социальная привычка, чем хозяйственная необходимость.

Правда, и на улицах Кувейта есть всевозможные лавки и магазины, которые могут смело конкурировать

вать — как по снабжению, так и по оборудованию и организации — с самыми современными торговыми центрами Европы или Америки. Но для жителей города жизнь была бы лишена прелести без базарных сплетен, без возбуждающих торговых сделок возле каждой лавчонки, без темноты крытых улочек суков. Наряду с торговлей по западному образцу Кувейт сохранил традиционную форму базаров.

Кувейтский суко — это оазис древности в фантастическом городе, только что порожденном нефтяными миллионами. Он составляет целый квартал, окруженный административными корпусами и высотными зданиями, пересеченный асфальтовыми артериями, по ночам со всех сторон озаряемый цветным заревом неоновой рекламы, но упорно сохраняющий свою архаическую обособленность. Эту архаичность создает только настроение.

Здесь нет никакой старинной архитектуры, а товары ничем (кроме цен) не отличаются от товаров с витрин и полок современных универмагов. Низкие, одноэтажные и двухэтажные домишки, выстроенные как попало, иногда украшенные карнизами в псевдомавританском стиле, с выступающими на тротуары галереями, которые поддерживают деревянные столбы, облепленные пестрыми объявлениями; длинные торговые ряды, связанные в единое целое общей крышей, — все они помнят прошлое. В то время Кувейт был просто одним из уголков пустыни, где после открытия под песками запасов нефти стоило поселиться и развернуть торговлю. Даже самые честолюбивые замыслы не шли дальше создания образа «туземного» городка, живущего отдельными проявлениями колониальной инициативы. Никто тогда не предвидел такого головокружительного роста богатства.

Но на суке богатство сохраняло прежний облик и традиционные обычаи. Золото Аравии всегда разжигало воображение древних путешественников; они описывали лавки золотых дел мастеров на базарах и восхищались их искусством. Правда, сегодня здесь трудно найти змеевидные браслеты, подвески в форме фантастических цветов и серьги полумесяцем — на суках преобладают декоративные украшения в стиле современного американского барокко, — но характер торговли не изменился.

Улица золотых дел мастеров, широким полукругом протянувшаяся по краю сука, едва ли может похвалиться хотя бы несколькими зеркальными витринами. Большинство магазинчиков — открытые темноватые лавчонки, в глубине которых поблескивают золотые цепи, подвешенные наподобие колбас в мясных лавках, а вокруг чувствительных весов сидят закутанные в белое бородатые купцы — они пьют кофе и с достоинством ведут неторопливую беседу, нередко посасывая при этом гибкие чубуки кальянов.

Изображая богатых туристов, мы приценивались к разным товарам. Все они стоили около трех с половиной долларов за фунт. За фунт?! Пораженные, мы начали лихорадочно рыться в памяти. Динар равен примерно трем долларам. Да это просто даром! Грамм стоит несколько центов. Почему же никто из команды не возвращался на корабль, увешанный золотом?

Загадка раскрылась очень скоро, когда мелкий торговец, у которого мы спросили цену какого-то колечка, взвесил его. Сказочный фунт оказался английским фунтом — золотой монетой, которая служит кувейтским золотых дел мастерам разновесом.



Выходя в море, мы проплыли мимо идущих под надутыми парусами лодок искателей жемчуга. Современная техника обошла стороной этот промысел. Никаких скафандров не было и в помине — их заменяли набедренная повязка и нож для защиты от акул.

Наш курс пересек красавец мхаили со скошенной реей. На его корме в лучах утреннего солнца сверкал хвостатый автомобиль. Ржавый туман постепенно скрывал изящные очертания города, гасил яркий блеск алюминиевых реторт — установок для дистилляции воды.

Мы покидали порт, когда в Кувейте была объявлена мобилизация. Нет, никакого вторжения не предвиделось. В течение трех дней в городе с нетерпением ожидали прибытия американского парохода с новейшими моделями автомобилей для эмира. Ежегодно, в первых числах ноября крупнейшие боссы автомобильной промышленности присылают патриархальному владыке Кувейта новинки к наступающему сезону. У старого эмира есть

свое хобби. Его подданные относятся к нему совершенно серьезно, но человек, прибывший из современного мира, не может избавиться от своеобразного чувства меланхолии. Что будет, когда в один прекрасный день нефть кончится или в результате новых изобретений перестанет быть волшебным сокровищем? Какое будущее ждет в наше время эту сказочную страну?

Этот пароход с машинами мы встретили под вечер и обрадовались. Бедняга эмир сможет вздохнуть с облегчением.

БОМБЕЙСКАЯ РУДА

Капитан сдержал свое обещание: назначил меня на вахту. Конечно, в «собачье» время — от двенадцати до четырех. Хотел дать мне почувствовать, что это значит. Вроде пресловутых выездов литераторов «на места». Я никогда не верил, что в таких поездках можно почерпнуть сведения, необходимые для того, чтобы правильно оценить явления окружающего нас мира. Их получаешь лишь на основе собственного опыта, полнокровно прожитой жизни.

Тем не менее я не считаю, что часы, проведенные в темной штурвальной рубке, под огромными звездами, посреди черного фосфоресцирующего моря, были потрачены впустую.

Когда-то, получив аттестат зрелости, я подавал заявление в морское училище. Меня не приняли. А ведь я мог навсегда связать свою судьбу с морем. Удивительно, как впоследствии жизнь, хотя бы частично, воздаст дань прежним мечтам. Так было и с Бомбеем, куда мы теперь плыли. Решение зайти в этот порт родилось между Басрой и Кувейтом в результате каких-то изменений в планах арматора. В один прекрасный день радист пришел к капитану с радиограммой, в которой говорилось, что мы должны взять груз руды в Бомбее. Для команды это было дело обычное — еще один порт по пути.

Неуверенно прикладывал я треугольник к карте. Трудно было представить, что мечта может осуществиться ни с того ни с сего, в самый обычный день, благодаря простой случайности. Но все совпадало: Элефан-

та — остров Шивы-разрушителя — лежала всего в шести милях от берега. В Кувейте симпатичный бомбеец из ювелирного магазина сказал нам, что туда по нескольку раз в день ходят моторные лодки и все удовольствие стоит несколько рупий. Образ Натараджи — пляшущего Шивы из знаменитых пещер — теперь неотступно преследовал меня. Я боялся, как бы не отменили распоряжение. Я старался освежить знания, полученные давным-давно, когда я изучал культуру и религию Индии. Мне ни разу не пришлось воспользоваться ими, и я почти примирился с мыслью о том, что они навсегда останутся только в моей памяти.

Меня ожидал своего рода экзамен. После авторского вечера Мариана дошла очередь и до меня. Но я не захватил с собой ни одной своей книжки. Поэтому я написал на листке бумаги возможные темы лекций, и в том числе — пытаюсь найти выход из затруднительного положения — предложил беседу о религиях Индии. Не знаю, могло ли так случиться на каком-нибудь другом флоте — команда выбрала именно эту тему.

Я попал в крайне трудное положение. Ведь я располагал только сведениями, почерпнутыми из книг, а матросы уже не раз видели Индию собственными глазами. Немного приободрил меня огромный серо-зеленый кузнечик, которого я увидел в тот день через иллюминатор моей каюты на водопроводной трубе. Никогда до тех пор я не видал саранчи, однако ни на секунду не усомнился, что это она и есть. К сожалению, с людьми все обстоит далеко не так просто. Вечером я потел в матросской кают-компании, объясняя происхождение кастовой системы, рассказывая о самкхии — теории чисел, удивительно схожей с некоторыми современными взглядами на движение материи, — и излагая основы ахимсы, которая оказала решающее влияние на формирование политической программы Ганди. Потом посыпались вопросы. Слушатели хотели знать, что означают символы, которые индийцы рисуют на лбу, из чего сделаны дудки заклинателей змей, почему одни женщины носят колечки в носу, а другие — нет, вреден ли для здоровья бетель. Меня захлестнул поток наблюдений, почерпнутых в повседневной жизни, столь же далекой от строения великих мыслительных систем, как далеки деревенские религиозные обряды от философии отцов церкви.

Меня снова охватило волнение. Индия, которую мне предстояло увидеть, могла оказаться совершенно чужой и непонятной.



Стюард разбудил меня около семи утра. Со вчерашнего дня мы стояли на рейде среди зеленых, сказочно живописных островов (один из них, заканчивающийся двумя острыми вершинами, был Элефанта), против голубоватой горной цепи Гат и раскинувшегося над водой белого, утопающего в зелени города, бесконечной лентой тянувшегося вдоль побережья.

Мы поднимали якорь. Солнце едва показалось над горизонтом и освещало острова и холмы. Было холодно. Из глубины широкого залива приближались парусники — двухмачтовые, с косыми парусами. С суши прилетали с карканьем вороны и рассаживались на мачтах. Вытянувшиеся в длинную линию кучевые облака повисли над самыми вершинами холмов, напоминающими древние укрепления. Потом неровный край облака над Элефантой стал цвета червонного золота, и солнце взошло.

На носу подплывающего лоцманского катера стояли два молодых человека, похожих друг на друга, как близнецы. Белые шорты, белые рубашки с короткими рукавами, белые матросские шапки и белые носки до колен. Я подумал, что это результат перенаселения — два лоцмана вместо одного. Борьба с безработицей. Но скоро понял, в чем дело. К бассейнам «Виктория Докс» ведет узенький канал, заканчивающийся шлюзом. Над ним переброшен железный подъемный мостик. Все эти сооружения девяносто лет назад, когда в Бомбей заходили почти одни только парусники, казались верхом технического прогресса. Современный грузовой корабль, даже такой небольшой, как наш «Ойцов», пролезает в это игольное ушко с огромным трудом. Работы хватает на всех. Один лоцман стоит на мостике, другой — на корме, портовые рабочие носятся вдоль бортов с пеньковыми канатами. Раздаются свистки, скрежещут болты шлюзов.

После всего этого хаоса в тесном бассейне с черной зловонной водой нас поразила мертвая тишина. Покры-

тые красной пылью железной руды склады стояли запертыми, с неподвижных гидравлических кранов в пустые вагонетки лениво капала желтая от ржавчины вода. На краю заплеванного бетелем берега дремал, сидя на корточках, полуголый бродяга. По площади против доков со скрипом тащилась двухколесная повозка, запряженная горбатыми волами.

Было седьмое ноября — первый день Дивали, индуистского праздника огней, который отмечается в честь бога Картикеи и богини Лакшми.

Устаревшая техника уродлива, но не лишена своеобразной поэтичности. Эти неуклюжие гидравлические краны могли бы быть экспонатами какого-нибудь промышленного музея. Унылые портовые строения, украшенные башенками с часами в стиле модерн — от них веет духом девятнадцатого века.

С тех времен архитектура и техника научились соединять полезное с приятным для глаза. Но все то, что составляло контраст с безмятежностью и красотой, было окутано поэтической дымкой былых влечений, слилось с образами своих противоположностей в единое воспоминание о стиле эпохи. Таким образом, Бомбейский порт, настоящий памятник промышленной революции, стал чем-то вроде живого заповедника викторианской эры.



Удивительны порой бывают судьбы предрассудков. Понятие «сохранение достоинства» выдумали, кажется, китайцы. Но наибольшее распространение оно получило в Британской империи. Англичане построили на нем свой колониальный престиж. Португальцы и испанцы, несмотря на жестокость и алчность, были более человечны. Они смешивались с покоренными народами, усваивали их обычаи, давая начало новым культурам и нациям. Колониальная система англичан всегда основывалась на сохранении дистанции. Но этот ницшеанский культ собственного сверхчеловеческого достоинства был больше чем системой. Это была искренняя убежденность в неизмеримом превосходстве своей расы, своего образа жизни, своей правды — единственной в мире совокупности добродетелей и достоинств, которая может

существовать только при соблюдении полнейшей чистоты и должна быть заботливо охраняема от всевозможных инородных примесей. К счастью, идеал был столь преувеличенно совершенным, что не мог не содержать подлинных моральных ценностей. Англичане ушли, «сохранив свое достоинство», и оставили в наследство свой язык, свой снобизм, свои парламентские и торговые обычаи, а также, увы, свои вкусы.

Несчастье Бомбея объясняется тем, что из него пытались сделать нечто вроде тропического Лондона. Начиная от двухэтажных автобусов и кончая неоготическими церквями и банками — все здесь должно было создавать иллюзию «sweet home»*. Город рос в самую неудачную для архитектуры — викторианскую — эпоху. В то же время это был период наиболее бурного расцвета охватившей британцев национальной мании величия. Ни о каком восприятии особенностей чужой культуры (и даже чужого климата) не могло быть и речи. Пренебрежение к местным традициям было так велико, что английские строители изобрели собственный восточный стиль. Поразительным памятником этого стиля является здание Музея принца Уэльского. Гид по Бомбею определяет стиль дома как «индо-сарацинский». Он похож на гибрид буфета в стиле модерн с Тадж-Махалом. Когда-нибудь здание музея станет достопримечательностью далекой старины.

Само понятие «музей» чуждо Востоку. Здесь прошлое умирает постепенно. Вещи, как и повсюду, исчезают, но формы сохраняются и не теряют своего значения несравненно дольше, чем на Западе.

Заполняющие музейные залы посетители наверняка пришли сюда не для того, чтобы набраться интеллектуальных или эстетических впечатлений. В музей приходили целыми семьями. Женщины с грудными младенцами на руках, дети разных возрастов, седые беззубые старухи, старики, поддерживаемые сыновьями и внуками. И все, как один, бедно одетые, маленькие, худенькие. Только совсем молоденькие девушки в развевающихся, сказочно ярких сари (даже заштопанные, выцветшие, они сохраняют свое изящество) так и светились нежным

* Родной дом (англ.).

очарованием цветов, которые распускаются лишь на один миг.

Эти люди заполняли преимущественно залы первого этажа, отведенные под скульптуру. В благоговейной сосредоточенности посетители переходили от статуи к статуе, от витрины к витрине, смиренно созерцая богов — танцующего Шиву и Шиву, вселяющего ужас, грозную богиню Кали, погруженного в размышления Вишну и добродушного Ганеша с животом сибарита и головой слона. Губы этих людей беззвучно шевелились, а ладони молитвенным жестом складывались на уровне лба. Сюда их привело не любопытство, а благочестие.

Памятники материальной культуры, размещенные на верхних этажах, вызывали меньший интерес. Одно из прекраснейших собраний могольской и раджпутской миниатюры осматривала совсем другая публика — европейцы и студенческая, наполовину европеизированная молодежь. Только зал западного искусства был абсолютно пуст. Там хранилась коллекция какого-то индийского богача, который на английский манер пытался играть роль мецената. В пышных золоченых рамах висели картины третьесортных фламандцев, неизвестных английских портретистов и пейзажистов девятнадцатого века, каких-то скучных мюнхенских художников. Не было недостатка и в очень плохих копиях.

Но, пожалуй, не уровень этого искусства отталкивал паломников. Даже поэтические придворные сцены могольских миниатюристов не много могли им сказать. Это был совершенно чуждый для них мир. Они приходили сюда по искреннему велению сердца. А о чем могли им поведать бакенбарды и пышные галстуки каких-то лордов и генералов, ветряные мельницы под чужим небом, красные куртки скачущих вдогонку за лисами наездников?

Перед музеем, в тени высоких пальм, на замусоренных газонах отдыхали утомленные осмотром семейства. Они делились принесенными с собой припасами, мужчины курили и жевали бетель, женщины кормили грудью младенцев. Веление сердца было выполнено. Правда, вероятно, не так, как рассчитывали основатели музея.

Это, конечно, только одна сторона медали. Нетрудно, однако, было увидеть и другую, выяснить, каково же веление сердца современных художников. В пределах того

же самого сквера находится выставочный павильон современной постройки — Картинная галерея Джехангира.

Взгляды людей, посещающих музей, хотя и резко отличающиеся от взглядов европейской публики, показались мне по-своему здоровыми, однако я опасался, что искренность созерцания свойственна миру, в котором современный художник уже не может найти себе места. Пожалуй, так оно и было. То, что мы увидели в Картинной галерее Джехангира, казалось мертвым. Не из-за отсутствия талантов — здесь можно было найти один-другой хорошо скомпонованный пейзаж, жанровую сценку, обращающую на себя внимание выразительным сочетанием форм и интересным колоритом, — но даже эти лучшие полотна говорили лишь о неплохом овладении ремеслом. Такие картины можно увидеть повсюду. В них есть кое-что от постимпрессионизма, от линейной стилизации, напоминающей бонбоньерки тридцатых годов, немного от хладнокровно выдуманной абстракции. Где же искусство, близкое по духу своему народу, вскормленное соками индийской земли? Несколько художников старательно подражали безымянным могольским мастерам — и были столь же анемичны и фальшивы, как подражатели французов. Они жили в мире, уже давно переставшем существовать, и производили впечатление поэтов, которые, искусственно подделываясь под старину, слагают стихи «к случаю». Отсюда их фальшь — вымышленная действительность, построенная по правилам забытого жанра, вышедшего из моды изящества. Впрочем, они утратили уже и древние рецепты. Их стандартные краски были невыразительны, лишены прозрачности и блеска.

Меня мучило ощущение, что чего-то здесь не хватает, что существует ничем не заполненный пробел. Дерево увяло; его пытались оживить, развешивая на ветках бумажные листочки.

Те люди в музее все еще верили в религиозный смысл искусства. Здесь, в галерее, искусство стремилось по западному образцу принять светский характер. Но почему не по собственному образцу? Разве впечатлительность, которая породила фрески Аджанты, могла существовать только в атмосфере храма? Почему теперь перестало хватать переживаний? Неверно, что понятие «современность» должно означать разрыв с традицией,

потому что традиционность искусства не исчерпывается условностью. Она гораздо сложнее и тоньше — как химический состав крови; и основывается она на специфическом восприятии действительности.

Каково же индийское восприятие действительности, то самое наследие, которого не хотят признавать современные художники?

Чужестранцу, незнакомому с культурой Индии, может рассказать о ней любая скульптура.

Внезапно я понял, на чем основывается столь ошутимая разница между собранием Музея принца Уэльского и экспозицией Картинной галереи Джехангира. Данью нашему времени, или скорее импортом, было не только современное искусство. Импортным было само желание придать жизни светский характер. Эта страна не знала эпохи своего ренессанса. Менялись стили и влияния, но основа искусства не подвергалась никакой автономной эволюции. Придворная миниатюра семнадцатого и восемнадцатого веков составляла единственный светский период ее истории. Однако это мимолетное течение не стало общим для всех художников этапом развития. Искусство продолжало оставаться языком культа и метафизической созерцательности, священным языком, который не принято использовать для светских целей. Этот язык присвоил все великие метафоры и все глубокие переживания индийского наследия, наложив на них своего рода табу. Рожденное на чужой основе, современное искусство вынуждено искать чужие слова.

Все это подтверждается драматическим событием из жизни художника Акбара Падамсе. Я узнал о нем уже после возвращения из путешествия.

В 1954 году в Картинной галерее Джехангира была устроена выставка Акбара Падамсе, которая окончилась скандалом и процессом в связи с оскорблением общественной морали. Полотна художника конфисковала полиция, а сам он — спасаясь от тюремного заключения — уехал за границу.

Падамсе обвиняли в распространении порнографии. Дело заключалось в том, что темы его картин были заимствованы с барельефов знаменитых храмов в Кхаджурахо. Эти храмы, построенные в десятом — тринадцатом веках и посвященные главным образом культу Шивы, украшены огромным количеством эротических сцен, которые

беспрепятственно воспроизводились в многочисленных альбомах и научных изданиях. Не знаю, обладал ли предложенный художником вариант ценностью подлинника,— впрочем, в процессе Акбара Падамсе это и не имело значения. Даже создав произведения высочайшего класса, он был бы заклеен — ведь он решился на узурпацию. Этот случай, хотя и особенно колоритный, иллюстрирует, по-видимому, общее состояние современного индийского искусства. Лишенное ореола святости, оно не может найти под собой почвы. Кто знает — может быть, его еще ожидает собственный ренессанс.



Во время праздника Дивали жизнь в порту и важнейших учреждениях замерла, но торговля не прекратилась, а может быть, даже стала еще оживленнее. Сидящие на корточках у порогов лавок женщины мелом рисовали на тротуарах разноцветные узоры. С боковых улиц все время доносились звуки канонады — это рвались петарды. Над лавками были развешаны гирлянды цветных лампочек, в писчебумажных магазинах толпились люди, покупавшие поздравительные открытки. Чувствовалось, что городом владеет приподнятое, праздничное настроение.

Мы двигались вместе с толпой, не спрашивая дороги. У нас уже был некоторый опыт. Стоит обратиться с вопросом к случайному прохожему, как тот немедленно «приклеивается» к иностранцу, идет по его стопам, что-то предлагает, подзывает такси, распахивает дверцы.

Мы начали с элегантного Бомбея — с районов, расположенных между Бори Бандер и Воротами Индии, с окрестностей площади Флора Фаунтэйн и приморского бульвара «Марин Драйв».

Но и здесь, среди тяжеловесных пышных зданий, у подъездов роскошных отелей, охраняемых атлетически сложенными сикхами в красных ливреях и тюрбанах, украшенных пучками перьев цапли, время от времени возле нас раздавался топот босых детских ног и профессионально-плаксивые голоса выкрикивали всегда одну и ту же фразу: «Нет мамы, нет папы, дай бакшиш». Каждую минуту мы натыкались на лежащих у стен до-

мов или в воротах нищих, а на скверах, рядом с торговцами зелеными кокосовыми орехами и бетелем, прокаженные с мольбой протягивали свои бесформенные обрубки. В то же время, однако, на улицах ощущалось биение пульса большого города, хотя рядом со стремительными потоками автомобилей, автобусов и грузовиков по мостовой нередко медленно проезжали скрипучие арбы, запряженные волами.

На бетонном, уходящем далеко в море мысу стоит не то башня, не то триумфальная арка — тяжеловесное каменное сооружение, символизирующее роль Бомбея как ворот Индии и соответственно своему декоративному воплощению получившее название «Ворот Индии». Восхищение этим памятником английской безвкусицы вмещается в обязанность каждому туристу, которого в тени величественных сводов подстерегают многочисленные эксплуататоры любопытства и снобизма иностранцев. Полицейский в вылинявших шортах и синих обмотках, обтягивающих изогнутые икры, услужливо предлагает подняться по темным ступенькам, спугивая светом фонарика жирных крыс, а на террасе, с которой открывается вид на огромную голубую панораму залива, назойливо советует, что следует фотографировать. Потом, скорчив болезненную гримасу, долго торгуется, снижая в конце концов цену за свои услуги с пяти до одной рупии с человека. Внизу заклинатель змей в белой пилотке призывно потрясает круглой корзинкой и сделанной из тыквы пищалкой. Запрашиваемое им вознаграждение также быстро сокращается. После недолгих, бурно ведущихся переговоров (мы уже знаем, что остановка означает капитуляцию) он садится на землю, открывает корзину и подносит пищалку ко рту. Ее грустное посвистывание заставляет змею высунуть голову. Кобра раздувает свой капюшон, показывает дрожащий раздвоенный язык и вяло раскачивается.

Утомленные жарой, мы укрылись в маленьком кафе на площади, примыкающей к саду музея. Это заведение явно не было рассчитано на иностранцев. Вокруг непокрытых мраморных столиков сидели за стаканом лимонада или кока-колы толстые мужчины с черными волосами и женственно мягкими ртами, рассуждая, судя по жестам, о торговых сделках. Были там и целые семьи, благоговейно отмечающие праздничный день,—

ковыряющие в зубах, позевывающие мужья в просторных, похожих на пижамы одеждах, скромно молчащие жены в шелковых сари, с нанесенными сандаловой крошкой красными пятнышками между бровями, ребятишки, чьи смуглые мордочки торчали над краем стола. Они сосредоточенно ели ложечками мороженое, видимо сознавая неизбежность появления пятен на чистых костюмах.

Я почувствовал, что за нами наблюдают. Однако ни занятые деловыми разговорами мужчины, ни празднующие Дивали семьи не обращали на нас внимания. Вскоре я перехватил бросаемые украдкой взгляды. Четыре склонившиеся друг к другу напомаженные головы, яркие клетчатые рубахи поверх брюк, прищуренные глаза в облаках табачного дыма, пальцы, выстукивающие на столе беспокойные ритмы. Я сразу же узнал их. Они и сюда проникли! Это были парни, дежурившие возле кинотеатров, сотрясаемые конвульсиями от джазовых мелодий, алчно следящие за стоящими перед гостиницами автомобилями, участвующие в бессильных заговорах против нищеты, но не отдающие себе отчета в том, что она является порождением их собственной слабости, живущие иллюзиями завязывающихся на киноэкранах романов. Им было по восемнадцать-девятнадцать лет. Подобно своим европейским собратьям, они цинично кривили губы, так же, как те, были настроены против всего и разочарованы — в общем, пытались казаться живописными «неудачниками». Впрочем, подделка выглядела не слишком убедительно. Эти ребята были чем-то скованы, казались застенчивыми; их жестам, улыбкам не удалось приобрести оттенка жестокости. Руки у них были узкие и нежные, движения — несмотря на притворную самоуверенность — мягкие. Очевидно, в их глазах мы — единственные представители западного мира в этом кафе — были посланцами желанной страны джаза и показываемых в фильмах приключений. Заметив, что я на них гляжу, они пришли в нервное возбуждение. Их вожак с длинными бачками начал кривляться и что-то бубнить себе под нос. С его губ слетали быстрые звуки «ча-ча-ча». Остальные пристукивали пальцами, шелкали зажигалками, поправляли искусно уложенные прически. Одновременно они ежеминутно бозливо поглядывали на своих солидных соседей. Нет,

они не чувствовали твердой почвы под ногами. Нетрудно было угадать, чего стоит каждая их лихая поза. Когда они выходили, продолжая кривляться и слишком громко смеясь, у меня создалось впечатление, что они удирают. Бедные, смешные пионеры новой цивилизации!



В сумерках мы отправились осматривать витрины торгующих сувенирами магазинов неподалеку от современного кинотеатра «Регаль». Кроме серебряных индийских украшений там было много китайских и японских изделий, бирманской бронзы, яванских стилетов — «крисов» — и разных восточных достопримечательностей, неотъемлемо связанных с атмосферой европейского «fin de siècle». Наша покупательная способность была более чем ограничена, да и сами эти стандартные сувениры, подделки под старину, ничуть нас не привлекали.

Когда мы стояли у одной из витрин, рядом остановился толстяк, лицо которого уже несколько раз мелькало перед нами во время нашей прогулки. Он делал вид, что тоже рассматривает лакированные шкатулки, «крисы» и белых слонов, но я не сомневался, что единственным объектом его внимания являемся мы. Я слегка потянул Мариана за рукав.

— Пошли отсюда, а то этот тип пристанет.

Но было уже поздно. Толстяк молниеносно сориентировался и уже загоразживал нам дорогу, расплывшись в широкой улыбке. Мятые пижамные штаны, черные полуботинки, шарообразный череп, покрытый седой щетиной. Он только хотел узнать, откуда мы.

— О, Голландия! — восторженно воскликнул он не расслышав моего ответа.

Он уже с нами встречался. Голландия — богатая и культурная страна. Он знает многих голландцев. Чрезвычайно симпатичные люди. Что? Мы торопимся? Он извиняется и не станет нам мешать. Толстяк сразу помрачнел, в голосе зазвучали обиженные нотки. Маневр был правильным — он задержал наше отступление, за-

* Конец века (франц.).

ставил нас вежливо взять свои слова обратно. Индеец продолжал объясняться. Мы не должны думать, что он такой нахал, коих, к сожалению, полным-полно на улицах Бомбея. Он просто заметил, что мы интересуемся искусством, а он как раз тоже поклонник красоты и старины. Он подумал, что мог бы помочь — конечно, совершенно бескорыстно — иностранцам, которым так легко попасть в лапы бессовестных вымогателей. Вот, например, этот магазин: мы бы могли зайти сюда и с полным доверием купить за бешеную цену какую-нибудь ничего не стоящую подделку, тогда как рядом в порядочной старой фирме можно найти настоящие произведения искусства, причем вдвое дешевле.

Он пропускал мимо ушей заверения, что у нас нет денег. Глупости. Посмотреть всегда можно. К тому же это очень просто. Надо только перейти на ту сторону улицы.

Вконец обессилив, мы отдались в его руки. В конкурирующем магазине толстяк чувствовал себя как дома и уговаривал нас не стесняться. Услужливые продавцы зажгли свет в витринах, заваленных точно такими же, как напротив, серебряными подвесками, «крисами», лакированными шкатулками и белыми слонами. Да и стояли они не меньше. После довольно длительного, но не принесшего фирме никакой прибыли осмотра мы снова очутились на улице, где темнота уже скрывала лица белых фигур, а с шумом вечернего движения смешивались отзвуки праздничных взрывов, доносящихся из расположенного неподалеку простонародного квартала Колаба. Наш благодетель преданно сопровождал нас, уверяя, что нет никакой беды в том, что сделка не состоялась. Не нужно принимать это близко к сердцу. Всякий знает, что нужно хорошенько поразмыслить, прежде чем решиться на покупку.

Возле кинотеатра «Регаль» мы поблагодарили его, пожав на прощание руку. Он был тронут. Знакомство с нами его ошастливило. Он удостоился большой чести. Может быть, нас это удивит, но торговля его не интересует. Он бродит по свету в поисках добрых людей и безошибочно распознает их. Ему достаточно было на нас взглянуть, чтобы понять, что мы хорошие люди. С величайшей радостью он оказал бы нам какую-нибудь услугу. Может быть, нас интересуют шелка?

Я категорически отказался, но Мариан, несколько разбогатевший после Кувейта, заколебался, остановившись на краю тротуара. Толстяк немедленно это заметил. О, шелка — это еще более изысканная вещь, чем старинные изделия. Теперь развелось много дорогой фабричной дряни, но человеку сведущему известны в этом городе места, где можно достать кашмирские ткани настоящей ручной работы. Есть тут такие магазины, основанные еще Ганди — слышали ли мы о Ганди? — с целью защиты бедных людей от эксплуатации. Теперь они перешли в руки государства, но их назначение осталось прежним. Там есть прекрасные ткани ручной работы. И стоят они дешево, потому что предназначены для бедняков. Богатому человеку туда и заходить не стоит, ему ничего не продадут. Нужно взять такси. Лучше «маленькое такси» — дешевле. Даже если мы ничего не купим, посмотреть стоит. С неожиданным проворством он выскочил на середину оживленного перекрестка. Через мгновение он уже поймал такси, уже разгонял оборванных мальчишек, которые выросли как из-под земли, чтобы открыть нам дверцы, уже подзывал и усаживал нас. Мы обогнули шумную площадь Флора Фаунтэйн и свернули на какую-то темную улицу. Наш спутник, сидевший рядом с шофером, повернулся и стал объяснять нам, как вести себя в «святом магазине». Тот магазин, куда он нас везет, еще «святее» прочих, потому что им руководит сам брат Ганди. Поэтому прежде всего следует на пороге сделать жест анджали, вот так, складывая ладони возле лба. Потом нужно каждому из присутствующих в лавке пожать руку и сесть на приготовленные подушки. Затем заведующий магазином, тот самый брат Ганди, помолится за нас, и лишь тогда мы сможем приступить к делу.

Видимо, и торговля не может обойтись без ореола. Наверняка в этом была большая заслуга наивных туристов, падких на индийскую «одухотворенность». Меня в свою очередь начала забавлять роль такого наивного заморского гостя.

Тем временем наш благодетель принялся нас спрашивать. Мы, вероятно, моряки? Морские офицеры? В Бомбей заходит много голландских судов.

— Мы поляки, а не голландцы, — поправил я толстяка.

Он умолк и с минуту обдумывал услышанное сообщение, словно размышляя, что можно из него извлечь. Я едва сдерживал смех. Мне казалось, что я угадываю ход его мыслей.— Коммунисты? Этих святостью не проведешь. А может, эмигранты? И в том и в другом случае ясно одно — у них нет ни гроша за душой. Впрочем, он мог и вообще ничего не знать о Польше. Хотя это было маловероятно. Независимо от состояния текущей информации здесь еще не забыли польских эмигрантов последней войны. На «Ойцов» ежедневно приходил бородатый сикх, портной, прозванный командой Михаилом, который прилично говорил по-польски. Он научился языку, работая в одном из лагерей польских эмигрантов.

С любопытством я ждал практических выводов толстяка.

— Поляки — очень веселый народ, — осторожно начал он. — Они любят развлекаться, пить... Но они хорошие люди. Хороший народ, — заколебался он и добавил еще осторожнее: — Католики.

— Преимущественно, — поддакнул Мариан.

Индиец оживился. Видно было, что он почувствовал себя более уверенно.

— Я тоже! — воскликнул он. — Я тоже католик. Посмотрите.

Он вытащил из-за ворота медальон и, с благоговением поцеловав его, стал показывать нам в полумраке такси.

— Святой Иосиф. Видите?

Мы проезжали по каким-то жалким, темным предместьям. Я с беспокойством поглядывал на счетчик. Бомбейские такси очень дешевы, но мы не могли сорить деньгами — у нас их было слишком мало.

Несколько раз мимо нас с воем проносились пожарные машины.

— Пожары всегда бывают во время Дивали, — объяснил толстяк. — От петард. Суеверный народ индийцы.

Неожиданно он переменял тактику. С индийцами его, собственно говоря, ничего не связывает. Он чувствует себя европейцем, по крайней мере по духу. Его жена — англичанка. Из очень хорошей семьи. Что у них за дом! Мы непременно должны увидеть его дом. Только тогда мы сможем понять и оценить его самого. Нравственность и радость жизни. Без преувеличения. И при

том комфорт: «Air conditioning» *, радио, ковры, картины. Настоящий дворец. Нам будет о чем рассказывать до конца своих дней. Он уже считает нас своими гостями. Мы, конечно, выпьем — такой в его доме заведен обычай. А потом танцы. Мы, наверно, любим танцевать. Поляки этим славятся. Он тоже любит. В его доме с утра до вечера танцуют и поют. У него две дочери. Молоденькие, очень красивые и веселые. Поэтому у них всегда полно молодежи.

Мариан подтолкнул меня локтем.

— Сегодня уже поздно, — сказал я. — Как-нибудь в другой раз. Мы пробудем здесь еще несколько дней.

— Но вы придете, конечно, в форме. Девушки обожают мундиры.

Машина медленно двигалась вдоль длинного ряда одинаковых, ярко освещенных лавок.

— Здесь, — сказал толстяк и коснулся плеча шофера.

Сложив у лба ладони, мы взобрались на высокий бетонный порог. Следуя инструкции, мы поочередно жимали руки продавцам в белых одеяниях. Тот, кого называли братом Ганди, оказался прыщавым дылдой лет тридцати в тюрбане и с неопрятной бородкой. Когда мы сели у стены на разложенных рядами подушках, он стал в угол и с минуту бормотал что-то, устремив глаза в потолок. Не успел он кончить, как продавцы проворно подскочили к груде прекрасных рулонов шелка. Они швыряли их на землю, подбрасывали в воздух эластичные ленты блестящей материи, в то время как «брат Ганди» ловил на лету разноцветные ткани и прикладывал их к нашим щекам, чтобы мы смогли оценить, как они скользки и холодны. Шелка были, без сомнения, фабричного производства и к тому же очень дорогие. Мы сразу заявили, что покупать ничего не будем. Они сказали, что это неважно, и продолжали трещать рулонами, а мы послушно сидели, зачарованные оргией красок, в то время как такси ждало перед лавкой с включенным счетчиком. Наконец они устали.

— Ну как? А может, готовое сари?

— Нет. Нам ничего не надо.

Продавцы обливались потом, но не переставали любезно улыбаться.

* Кондиционированный воздух (англ.).

«Брат Ганди» принес нам толстую книгу с засаленными, загнутыми уголками. В таком случае, быть может, мы по крайней мере захотим здесь расписаться?

Страницы были испещрены многочисленными подписями и банальными выражениями признательности на разных языках. Мы добавили несколько фраз, смягчив отказ от покупок задушевыми словами. Очевидно, каждая сравнительно длинная или пылкая похвала соответствовала несостоявшейся сделке.

Все кончилось пожиманием рук, церемониальным анджали и молитвами в углу.

Я был уверен, что теперь толстяк от нас отступится.

— «Виктория Докс», — сказал я шоферу и вопросительно поглядел на нашего опекуна, но тот энергично запротестовал:

— О нет! Теперь ко мне. Вы должны увидеть мой дворец.

Наше сопротивление только усилило его настойчивость.

— На минуточку. На одну рюмку. Это совсем близко.

Он снова куда-то нас вез, а счетчик с тихим шелканьем выбивал все новые анны и рупии. Мы проезжали мимо бесконечных заборов и железнодорожных переездов; наконец машина свернула на виадук, а с него выехала на темную улочку, застроенную с одной стороны доходными домами в стиле серийных домов-коробок тридцатых годов. Тут не было даже тротуара. Между ямами и кучами мусора в темноте с криком бегали ребятишки, разбрасывая петарды.

Мы вошли в подъезд. Наверх вела деревянная лестница, освещенная слабой, ничем не защищенной электрической лампочкой. Стены были серы от плесени. Из темных коридоров несло чесноком, оливковым маслом и ладаном; доносились отголоски ссор, неизбежно возникающих, когда семейная жизнь протекает в обстановке казармы. Двери в эти коридоры были подвешены так, что над порогом оставалась широкая щель, а наверху они едва достигали уровня глаз и поверх них можно было, как через забор, заглянуть внутрь. Очевидно, в этом заключался пресловутый *air conditioning* «дворца».

Хозяин толкнул одну из таких дверей в конце коридора. Посреди грязной комнаты стояли круглый столик и два стула. У стены, возле двери, ведущей на балкон,

приютилась железная кровать, прикрытая плюшевым покрывалом. «Ковры» оказались клочком истоптанного половичка перед кроватью. На столике, покрытом вязаной салфеткой, стоял очень старый и очень пыльный приемник, а на бамбуковой этажерке в углу — еще более почтенного возраста граммофон со старинной трубой типа «His master's voice»*. Несколько выцветших семейных фотографий в тростниковых рамках украшало стену.

Толстяк указал нам на стулья, а сам тяжело опустился на кровать и гордым взглядом окинул комнату.

— Ну как? Вам нравится?

— Очень мило, — меланхолично отвечали мы.

Он внимательно посмотрел на нас и немного приуныл. Воцарилась неприятная тишина.

— Выпьем по одной? — через мгновение прервал молчание хозяин.

— С удовольствием.

Мариан незаметно взглянул на часы. Мы продолжали неподвижно сидеть, словно ожидая, что эта «одна» чудом свалится с неба.

Хозяин короткими толстыми пальцами почесывал себе живот.

— Я познакомлю вас с моей дочерью, — вдруг вспомнил он. — Она на кухне. Вторая уехала.

Он повелительно крикнул что-то. Дверь приоткрылась, и вошла шестнадцатилетняя рыхлая чернушка в ситцевом платице. Она была явно чем-то недовольна и сердито поглядела на отца, словно говоря с упреком: «Опять?». Нам она подала руку не глядя, после чего, не произнеся ни единого слова, удалилась.

— Она собирается на дансинг, — неуверенно сказал толстяк. — Поэтому не может составить вам компании. Ах, эти дети! Ну как, выпьем?

— Уже поздно, — сказал я. — Нам пора возвращаться.

— Только по одной.

— Хорошо.

И мы снова стали чего-то ждать. За окном разрывались петарды, а где-то вдалеке выла пожарная сирена. Мне показалось, что я чувствую, как тяжелыми каплями бесполезно сочатся минуты моей единственной и непов-

* «Голос его хозяина» (англ.).

торимой жизни. «Я в Бомбее,— думал я с меланхолическим изумлением.— В Индии. Это Индия!».

Воображение рисовало мне фантастические картины того, что я мог за это время увидеть. А потом мучительное чувство бесплодного времяпрепровождения ослабело, стало отступать. «Не так уж все бессмысленно,— сказал я себе.— Это тоже Индия».

Толстяк поднялся с кровати. Вид у него был крайне разочарованный и печальный.

— Я пошлю дочку,— предложил он.— Она принесет нам...

В его взгляде словно затаилась скрытая мольба догадаться о чем-то.

— Нет, не надо. Мы пойдем.

— Подождите,— простонал он, повернулся внезапно на каблуках и вышел на балкон. Сквозь щель в двери я увидел, как он открывает бумажник и дрожащими руками пересчитывает деньги. Через минуту он вернулся.

— Не могли бы вы разменять пять рупий?

Мы не могли. Такси поглотило почти все мои средства.

— Не беда. В другой раз,— утешал я его.— Нам было очень приятно.

— Да. Завтра,— подхватил он.— Меня всегда можно найти вечером возле кинотеатра «Регаль».

Мы распрощались, твердо решив избегать кинотеатр «Регаль».

Вечером в кают-компании «Ойцова» я, смеясь, рассказывал капитану эту дурацкую историю.

— В такую даль тащил нас ради того, чтобы выпить,— и ни черта.

— Ясно, что ни черта,— сказал капитан.— Ведь в Бомбее запрещено торговать спиртными напитками.



По обеим сторонам длинных шатких мостков, к которым причалила моторная лодка, в воде рос мангровый лес. Жилистые босоногие жители Агры, возбужденно жестикулируя, приглашали нас воспользоваться носилками — деревянными табуретками, прикрепленными к длинным жердям. Окаймленная низкими стенами каменная дорожка вела к одной из двух вершин острова в тени манговых и тамариндовых деревьев. Неподалеку от

пристани она пересекала залитые водой рисовые поля и зеленые лужайки, по которым были разбросаны примитивные хижины из прутьев и тростника. Очевидно, точно так же жили здесь люди и в далекой древности, когда Элефанта принадлежала империи Мауриев и называлась Гхарапуре (так ее до сих пор называют местные жители). Прошли времена Мауриев и Чалукиев, годы правления деканских султанов, маратхов, португальцев и англичан, а формы жизни обитателей острова не подверглись сколько-нибудь значительным изменениям. Разве что к традиционным занятиям — рыбной ловле и земледелию — прибавилось еще одно: переноска на плечах американских и немецких туристов.

На нас им заработать не удалось. Думаю, что поэтому мы упали в их глазах, хотя решение пройти пешком полтора километра до пещер было продиктовано не только соображениями экономии. Вид слипшихся от пота волос и напрягшихся от усилий затылков подкреплял вынужденную скупость принципами эгоистического по сути дела гуманизма.

На склоне дорожка превращалась в резкие зигзаги крутой лестницы. Листва зеленого свода над ней и в обступающей ее чаще все время шелестела — там прыгали обезьяны. Зверьки пролетали над нашими головами; их светло-серые тела вспыхивали рыжим огнем на фоне изумрудных просветов.

По мере приближения к вершине растительность редела. Над тянущейся поперек склона террасой нависла шапка красноватой лавы. Под ее толстыми козырьками чернели ниши пещер. Солнце обливало скалы стекловидной глазурью; пещеры зияли в ней глубокими ранами. Нужно было почти вплотную подойти к ним, чтобы различить градации тени. На фоне стен в углублениях неясно проступали очертания каменных фигур и массивных колонн, охраняющих вход в следующие, еще более мрачные отсеки.

В первых двух пещерах мы нашли только высеченные в скале ложа и цилиндрические столбы лингамов, на цоколях которых увядали принесенные в жертву цветы. Очевидно, это были кельи набожных отшельников.

К самому храму, находящемуся немного поодаль, вели ступени каменной лестницы. Белые фигуры посетител-

лей неожиданно выплывали из темноты на лестницу или столь же неожиданно скрывались в храме. Мы прошли через неглубокий тамбур и остановились у порога огромного зала, разделенного рядами колонн на многочисленные нефы. Там было не так темно, как мы ожидали. С обеих сторон проникал свет из внутренних двориков, очевидно вверху превращающихся в шахты, ведущие на поверхность. В глаза прежде всего бросался геометрический порядок этого каменного леса: гладкий пол и ровный потолок, симметрично перерезанный массивными поперечными балками. Колонны, поддерживаемые тяжелыми квадратными основаниями, неожиданно закруглялись на половине высоты, чтобы под самым сводом развернуть изрытые желобками чаши допотопных хвощей. А дальше, в затянутых полумраком нишах разыгрывалась страстная драма сплетенных в клубок, взбудораженных форм.

Зал был распланирован в форме греческого креста. В конце главного тройного нефа из стены выступал огромный торс Махешмурти — трехликого Шивы. Творец, Хранитель и Разрушитель — человеческое тело бессильно воспроизвести всю полноту могущества бога. Масштаб метафоры, величественность поэтической концепции исключают опасность гротеска или безобразия. Эти три головы на одних могучих плечах, увенчанные общей тройной тиарой, составляют гармоническое и благородное единое целое.

Поистине великое искусство, как бы оно ни было удивительно, никогда не кажется странным. Если нужно, оно сокрушает основы привычек, принуждает существующие в мире формы выражать свою точку зрения, но само говорит о том, что чувствует, во что верит. И ему нужно поклониться.

Признаюсь, я немного побаивался встречи с искусством древней Индии. Я боялся декоративной пышности его языка. Я подозревал, что меня не сможет убедить его риторика и что, даже если меня покорит совершенство ремесла, я уйду разочарованным.

Гроты мы осматривали довольно большой группой. На этот раз равнодушные к экзотике моряки позволили повести себя в пещеры. Обремененный ролью проводника, я пытался объяснять смысл мифологических сцен, неуверенно определяя, где изображено рождение Ганга,

где — убийство демона Андхака (фигура которого, впрочем, исчезла с барельефа, разбитая пулями португальских мушкетеров), а где — бракосочетание Шивы и Парвати на горе Каилас. Но мои слова казались такими легковесными, словно я рассказывал анекдоты. Да иначе и быть не могло. Величие искусства трудно передать словами.

«Вот Натараджа — Шива, в танце создающий мир». Может быть, сегодня объяснить смысл метафоры легче, чем было раньше, — если умело оперировать такими понятиями, как энергия и ритм, доступными любому механику. Однако это всего только слова — и какие бесцветные по сравнению с глубиной волнения, сопровождавшего поиски смысла жизни во времена, когда единственным орудием познания был поэтический символ. За тринадцать веков скульптуры Элефанты не утратили ни значения, ни свежести тогдашних эмоций. Памятники некоторых великих культур прошлого осматриваешь как печальные мумии временного могущества либо как документы навсегда исчезнувших Атлантид. Здесь язык выраженной каменными формами метафоры остался метким и живым, он хватает за душу, растравляет воображение. И человек не сопротивляется. Он мирится с полумужским, полуженским телом Ардханарешвары — Шивы, воплощающего единство противоположностей, с восемью руками Натараджи, наводящими порядок в хаосе мягкими и ритмичными движениями чувственного танца.

Можно легко понять людей, которые еще сегодня, так же как много веков назад, молятся в глубине пещер, у подножий мрачных алтарей. Ужас и сладость этого мифа, его философская образность и тревожная эротика пробуждают вкус к раздумьям над тайной существования.

Глубокие впадины образовали по обеим сторонам храма открытые дворики с поргиками из колонн, ведущими в другие пещеры. В толпе богов с женственно-гибкими телами, демонов, животных и порхающих под сводами музыкантов-небожителей — гандхарвов — здесь царили огромные лингамы — символы плодородия, лоснящиеся от жира, которым их умащивают верующие. Один из них, больше чем двухметровой высоты, скрытый во внутренней часовне, находился под охраной четырех ог-

ромных таинственных привратников. Очевидно, эти пещеры были особенно излюбленным местом португальских мушкетеров для упражнений в стрельбе, потому что фигуры стражников были искалечены больше других скульптур. Да и лингам в четырехугольной внутренней части алтаря явно был почитаем более, чем остальные: ступеньки, сглаженные тысячами подошв и колен, превратились в скругленные наклонные плоскости, у подножия цоколя лежали еще не увядшие цветы — их, видимо, только что сюда положили. Двор возле храма представлял собой сырую яму с заплесневелым прудиком посередине. Свет проникал сюда сквозь гущу склонившихся над каменистыми обрывами ветвей. Может быть, поэтому дворик казался еще более древним. Пахло мокрым перегноем и гниющими листьями. Раскаты матросского смеха, гулко звучащие среди толстых колонн и обветшалого свода, сопровождалась шелестом крыльев летучих мышей. Моряков забавляли лингамы. Они не жалели, что пришли сюда. Португальские солдаты, наверно, хохотали точно так же. И эхо их веселья точно так же нарушало молитвенную тишину, окружающую символ жизни.

Внешний мир ослеплял яркостью красок. Сухой блеск белого гравия на террасе резал глаза. Выходя из пещер, человек неожиданно пробивал завесу холодной тени. Тропинка сужающимся серпом огибала конус вершины горы, ведя к пещерам, укрывающим другие фаллические алтари. Здесь стояли, глядя на голубой залив, три молодые женщины — три стройных сверкающих цветка — салатный, желтый и синий. Иссиня-черные волосы тяжелыми узлами ниспадали на спину, гладкий шелк блестел в складках их сари.

Матросы подталкивали друг друга локтями, посвистывали. Ими еще владело безудержное веселье. Они пытались угадать, не эти ли девушки принесли в жертву лингамам цветы. Встревоженные девушки повернули к нам смуглые лица с круглыми пятнышками сандала между бровей, а мы умолкли, обескураженные сиянием трех нежных улыбок, и долго молча следили, как они удалялись легкими стремительными шагами — так ходят только очень молодые девушки в цветных сари.

В выступающей части террасы, образующей словно подвешенный над пропастью балкон, стояла каменная

беседка. Мальчики в белых дхоти * сидели кружком в тени куполообразного навеса, постукивая распрямленными пальцами по маленьким тамбуринам. Посередине танцевал один из них, разведя согнутые в локтях руки, жестом, заимствованным у Натараджи. Его босые подошвы то быстро, то медленно отбивали такт. Видно было, что он уже устал, но мокрое от пота лицо светилось энтузиазмом. Стоило ему приостановиться, как его начал подзуживать хор гортанных, певучих голосов и сложно синкопированное прихлопывание ладонями.

Нам не хватало времени для того, чтобы взобраться на другую вершину с противоположной стороны долины, скрывающую в себе еще более старые — на этот раз буддийские — пещеры. Но, хотя время отъезда приближалось, мы медлили — никак не могли насытиться зеленью после долгого пустынного поста. Нам хотелось вволю наглядеться на сбегające к морю кудрявые склоны разбросанных по заливу изумрудных островов. Захваченные красотой пейзажей, мы пробирались к вершине по узенькой тропинке в гуще колючих зарослей. Неожиданно мы наткнулись на часть кирпичной стены, рядом с которой лежала наполовину раскрошившаяся цементная плита. Стайка испугнутых обезьян с писком выскочила из заросшего бетонированного рва. В стенах этого хода сообщения были прорезаны заржавевшие двери, ведущие к подземным бункерам. Немного пониже, на склоне, среди живописной полянки, мощное крепостное орудие бессильно склонило необычайно длинный, бурый от ржавчины ствол к потрескавшейся бетонной подставке. Оно уже ни в кого не целилось. Забытое, сжигаемое солнцем, оно дождалось своего времени, чтобы стать еще одним памятником Элефанты.

Праздник Дивали достиг в тот день своего апогея. В лесу, возле пещер, расположились биваком целые семьи бомбейцев, делясь захваченными с собой припасами с назойливыми обезьянами. Высокие откосы набережной у Ворот Индии, куда причаливают возвращающиеся с Элефанты моторки, были облеплены густой толпой. Люди сидели на тротуарах и парапетах, жуя бетель, потягивая из бутылок лимонад, беззаботно разбрасывая вокруг ко-

* Д х о т и — кусок материи, обертываемый вокруг бедер и ног.

журу бананов. Горячий воздух шипел, как растопленный жир,— это кругом рвались петарды.

Во второй половине дня мы отправились в глубь района Колаба. Где-то позади остались витрины элегантных магазинов и портики викторианских отелей. Асфальт вскоре уступил место булыжнику, а самым распространенным видом транспорта стала двухколесная повозка, запряженная волами. Под глухой стеной электростанции в пыли сидел на корточках продавец амулетов. Полуодетый, с серой от пепла кожей и страшно всклокоченными волосами старик, что-то бормоча, склонялся над растеленным на земле обрывком пожелтевшей газеты, который служил ему одновременно прилавком и витриной. На нем он разложил свой товар. Зубы каких-то животных, пучки засохших трав, обрезки пушистых шкурок и невесть чем наполненные мешочки из грязных тряпок или оберточной бумаги.

Улочки напротив электростанции были без тротуаров. Они бежали меж рядов низких лавок, а потом разветвлялись и принимались петлять среди покрытых плесенью пригородных развалин. Мы свернули в одну из улиц. Несмотря на нищету этих кварталов, к нам никто не приставал. Может быть, в праздничный день не полагалось попрошайничать? Выбирая наименее оживленные проходы, мы блуждали по каким-то крытым галереям и дворам, заваленным кучами гниющего мусора. Там бродили тощие, как скелеты, священные коровы, меланхолично погруженные в поиски удобоваримых объедков. В тех же мусорных кучах рылись не менее голодные ребяташки.

Сгустились сумерки. Грохот петард сопровождался теперь мерцающим сиянием. За ближайшим углом за сверкали разноцветные лампочки. Внезапно нас обступила густая толпа белых фигур. Прижатые друг к другу тела влекли нас между рядами желтых огоньков, колеблющихся в дверях лавок и окнах жилищ. Толпа негромко гудела, лениво кружась в теплом мерцающем свете многочисленных свечей, фонариков и разноцветных электрических лампочек. Отблески этого зарева превращали женские сари в сверкающие драгоценности. Мы отдались во власть толпы, которая бесцельно влекла нас за собой, и просто тонули в человеческой стихии, бесформенная мягкость и теплота, нежность и грусть кото-

рой очаровывали и одновременно вызывали отвращение. Временами темные головы и белые рубашки расступались перед слюнявой коровьей мордой с удлинненными глазами и загнутыми назад рогами.

В чем заключалось это празднество? В приобщении к жизни, чувстве локтя, растворении в многоцветном сиянии. Мы все время возвращались в одни и те же места: я узнавал необычайно толстого мужчину, полулежащего в неглубокой нише возле примуса и закопченной сковородки, на которой жарились лепешки, гирлянды из пестрых папиросных бумажек над какой-то лавкой, седую старуху в угловом окне первого этажа. Но мы не чувствовали усталости. Все это было похоже на сон или на осуществление мечты о проникновении в глубь киноэкрана. Мы даже не заметили, когда течение вынесло нас из этого заколдованного круга, толкнуло в другие, более широкие улочки и выбросило на тротуар перед открытыми дверями маленького храма, посвященного — как гласила надпись — Раме.

До сих пор на нас никто не обращал внимания. Теперь мы заметили вокруг себя ободряющие улыбки, выразительные приглашающие жесты. Опасаясь, как бы не совершить какого-нибудь промаха, мы остановились у порога.

Перед нами была небольшая комната со своеобразным возвышением в глубине и маленьким альковом напротив входа. Там, на жалкой железной кровати, сидела толстая немолодая женщина и кормила грудью завернутого в край сари ребенка. Двое других детей ползали по грязному полу среди тряпок, выщербленных мисок и горшков. От запаха сандалового ладана и жара, подымающегося от многочисленных свечек, горящих на полу главного помещения, перехватывало дыхание. С потолка свисали фестоны бумажных цветов, а возвышение было уставлено живыми, вянущими в этой духоте цветами в бутылках, консервных банках и дешевых вазочках. На стенах дрожали ярмарочные подвески из осколков зеркала и цветного стекла. Несколько примитивных олеографий изображали неизвестные мне сцены из «Рамаяны». Трудно было понять, идет ли здесь богослужение. Люди входили и выходили, болтали с женщиной в алькове, прилепляли к полу новые свечки, совершив жест анджали, склонялись перед жрецом, по-видимому, отцом

семейства, который, сидя на корточках на возвышении, непрерывно потрясал латунным звоночком.

Смутившись, мы поспешили уйти. Это было продолжение Элефанты.

Мы возвращались поздним вечером. С расшатанной верхней площадки автобуса я заглядывал в открытые окна домов. Внутри они напоминали жалкие провинциальные парикмахерские, может быть потому, что были разделены не доходящими до потолков перегородками, часто прорезанными оконными рамами с матовыми стеклами. Наш знакомый из района кинотеатра «Регаль» справедливо полагал, что живет в роскоши. Стоило опустить глаза, чтобы найти точный масштаб для сравнения.

На тротуарах горели небольшие, поддерживаемые бумагой и мусором костры, а вокруг них укладывались спать те, единственный дом которых — улица. У многих не было даже циновок, чтобы постелить на камни.

Кто-то сказал нам, что в одном только Бомбее насчитывается семьсот тысяч бездомных. На европейца такого рода статистические данные действуют так, словно в них заложена взрывчатка. Существует убеждение, что нищета, превышающая всякое числовое выражение, самопроизвольным взрывом разносит здание общественного и политического строя, ее породившего. Однако при виде длинной, ведущей к порту улицы, которая в это время дня приобретает облик походного лагеря, создавалось впечатление, что здесь установилась печальная стабилизация. Бездомные укачивают детей, готовят еду в подвешенных над кострами котелках; кое-где при свете фонарей читают газеты, даже отмечают праздник. Соседи переходят от костра к костру, раздается брэнчание маленьких, похожих на балалайки лютней, попадаются группы сидящих на корточках молодых людей, вполголоса что-то напевающих. Этим прозябанием управляла какая-то рутина, такая спокойная и отрешенная, словно ей предстояло существовать века. Может, и это было продолжением Элефанты: жалким урожаем культа лингама.



Мы вчетвером — Мариан, первый механик Михаил, радист и я — ехали на взятом в консульстве напрокат автомобиле. Шофер-индиец утверждал, что в Бомбее

пять миллионов жителей. Очень неточные путеводители по городу сообщают разные цифры: три миллиона, четыре миллиона... Возможно, что никто так и не знает правды. Но лишь когда хочешь выехать за пределы города, видишь, сколь он огромен. Мы проехали вдоль всего Бомбея. Портовый район, кишаший нищими, рождающимися и умирающими на тротуарах; роскошные бульвары, на которых жизнь кипит, как на магистралях Нью-Йорка или Парижа; набережная «Марин Драйв», напоминающая побережье Мичигана; тенистые сады Малабарских холмов; торговые улицы, где магазины и магазинчики лепятся друг к другу, как ласточкины гнезда, болотистые предместья, застроенные шалашами и хибарками из листов гофрированной жести; за ними элегантные районы вилл, потом нечто похожее на деревушки, состоящие из одних только ярмарочных палаток. Когда же кажется, что все уже кончилось, снова начинаются доходные дома, снова заводы и еще раз хибарки, и еще раз лавки. Все это кипит от движения автомобилей и пешеходов; похоже, что каждый уголок пространства заполнен человеческим телом. Город все еще тянется, но в его облике появляются изменения. Другие людские типажи: все более темные лица, все более плоские носы, все больше женщин с медным обручем на голове. Встречаются странные старцы с закрученными на макушке коками, с удлинненными однострунными лютнями через плечо. Попадаются стада бредущих посреди мостовой буйволов с графитово-серой шерстью и плоскими, загнутыми вниз рогами.

Внезапно, где-то на тридцатой миле за грязным железнодорожным переездом, весь этот огромный муравейник остается позади и вас обступает море зелени. Манговые деревья, кусты, какие-то зерновые культуры, отдельные огромные пальмы, возвышающиеся над гущей зелени, обширные заросшие холмы. Шоссе, теперь совсем опустевшее, сужается, делая многочисленные изгибы, поднимается в гору и спускается вниз по местности, которая превратилась в джунгли, но осталась нежной, веселой, с широкими перспективами, открывающимися на зеленые долины и склоны.

Мы миновали одиноко стоящие ворота, на которых виднелась доска с надписью «Национальный парк Кришнагири». Дорога становилась все круче. Иногда среди

густой зелени мелькала маленькая деревушка — несколько квадратных хижин из бамбука и пальмовых листьев. Мы остановились на посыпанной гравием площадке у подножия горы, под нависшей над ней, так же как на Элефанте, шапкой ноздреватой красно-черной лавы. Здесь дорога кончалась. Вверх вели только выбитые в скале ступеньки, по которым мы взобрались на террасу у подножия каменного порога. Из многочисленных расщелин торчали пучки ломкой, побелевшей от зноя травы, похожие на седые волосы, окаймляющие старческую лысину. У края террасы нас приветствовало предостерегающее шипение. Свернувшаяся в темной расщелине змея высунула в нашу сторону треугольную голову и заскользила в траве, медленно распрямляя кольца длинного медно-красного тела.

Здесь пещеры — так называемые Пещеры Канхери — гораздо старше гротов Элефанты. Они появились в начале нашей эры, в те времена, когда на огромных пространствах Индии буддизм являлся основной религией.

Перед входами в эти пещеры стояли квадратные колонны, образующие тщательно вымеренные прямоугольники. Разница в четыре века и другая религиозная традиция не повлияли на их форму. У здешних колонн были точно такие же развернутые в верхней части, иссеченные желобками капители, как и на Элефанте. Но внутреннее устройство пещер свидетельствовало о совершенно ином мире понятий. Здесь не было и следа тамошнего экстатического подъема. Покрывающие стены часовен барельефы — большая часть пещер, расположенных вдоль террасы, представляла собой нечто вроде маленьких храмов — дышали мягкостью и покоем. На них было изображено всего несколько вариантов фигуры Будды: размышляющий в позе «лотоса» или поучающий со слегка приподнятой рукой; они повторялись в разных размерах, образуя ритмично чередующиеся последовательности, как стихи тихо читаемой молитвы. Женственная мягкость очертаний этой фигуры не имела ничего общего с гермафродитской двусмысленностью скульптур Шивы. Она выражала гармонию безмятежной задумчивости, грацию спокойного счастья. Посреди некоторых часовен возвышались ступы — символические буддийские памятники, изображающие гробницу Просветленного. Куполообраз-

ные сооружения, увенчанные квадратными кап.
напоминали столбы лингамов. Это не могло укрыться ч.
глаз последователей Шивы; в одной из комнат, где
капитель была разрушена, мы увидели на цоколе ступы
эмблемы Шивы. Но эти нацарапанные на камне знаки
не были узурпацией. Плодоносные, бесформенные джунгли
индуизма усваивают все, они пускают корни на почве
любого религиозного чувства. Самое отдаленное, даже
чисто внешнее сходство используется как питательная
среда.

При осмотре святилищ Канхери ясно ощущаешь, что
они принадлежат к отмершему культу. Они сохранились
лучше, чем пещеры Элефанты, но в них чувствуется хол-
лод запустения; священные пещеры стали уже только па-
мятником старины. Мы ходили по ним в одиночестве, все
окрестности казались совершенно безлюдными.

В конце террасы, в скале, находился большой, разде-
ленный вертикальными просветами портик с двумя
огромными статуями стоящего Будды у обеих боковых
стен. В глубине, по краям ворот, в окружении маленьких
изображений Сакья-Муни, виднелись две большие компо-
зиции: симметрично расположенные две женщины и двое
мужчин с цветами лотоса в руках. Это были изображе-
ния основателей храма — видимо, набожных супружес-
ких пар, поддерживавших религиозную общину своими
средствами. Внутреннее устройство удивительно напоми-
нало христианскую церковь. Длинный неф с круглым
сводчатым потолком, опирающимся на два ряда колонн,
и с овальной апсидой, роль которой выполняла огром-
ная ступа. Очевидно, когда-то здесь проходили богослу-
жения для многочисленных верующих. Каменные стены
чайтья (так звучит название буддийского храма) были
сплошь покрыты великолепными барельефами одного и
того же содержания — Будда размышляющий и поучаю-
щий. Ограниченность иконографической темы, отсутствие
каких бы то ни было аллегорий или сцен из джатак —
басен и легенд, которые со временем обросли историче-
ской традицией — свидетельствовали о принадлежности
пещер Канхери к хинаяне, самому старому течению буд-
дизма, носящему созерцательно-философский и агно-
стический характер. Будда, которого здесь чтут, не был
еще божеством. Он был наставником. Он первый пробудил-
ся от мучительного обмана существования и указал

...од из круговорота рождения и смерти, путь к освобождению от страданий, являющихся неизбежным результатом страстей и мирской суеты. Он принес добрую весть о «несуществовании, нирване» — полнейшем, окончательном покое.

Эта концепция в результате оказалась слишком сложной для людей; в самом буддизме возобладало фидеистическое, насыщенное моральным драматизмом направление махаяны, согласно которому в небе полно воплощений Будды и свитых архантов, а бесконечность первоначальной пустоты заполнена живительным кислородом чистого сознания. И там еще хватало места для утонченного философствования, но богатство поэтического вымысла, радость необычайной красоты, яркий мир обрядов и глубокого волнения завоевали человеческие сердца. Тем временем разница между этой доступной версией науки Просветленного и индуизмом все сильнее стиралась, пока наконец самое дерзкое еретическое религиозное течение Индии незаметно не впиталось обратно в океан прежней ортодоксальности.

Подобные мысли подчеркивали впечатление, что это место не окончательно покинуто людьми.

Выходя из чаитьи, мы задержались в портике, пытаюсь найти положение, из которого удалось бы поймать в объектив аппарата всю огромную фигуру Будды. И тогда у подножия статуи я заметил рассыпанные зернышки риса. Мне показалось, что время неожиданно сместилось. Я указал на рис любезно улыбающемуся шоферу.

— Кто-то приносит сюда жертвы.

Он кивнул.

— Значит, в окрестностях Бомбея есть буддисты?

— Есть. Последнее время все больше людей поворачиваются к буддизму. Особенно представители низших каст.

Так он и сказал: «поворачиваются к буддизму». Не обращаются, а поворачиваются; словно они до сих пор выбирают существующую в комплексе индийских верований альтернативу. Меня это поразило. До сих пор я считал, что целью организуемых правительством всемирных буддийских конгрессов в Дели является расширение индийского влияния в Азии. Неужели они были проявлением каких-тодвигающих обществом или навязанных обществу тенденций?

Дальнейший путь нам преграждала круто спускающаяся с вершины скала в виде столба. Выбитые в лаве по ее краю ступеньки вели наверх, образуя винтовую лестницу. Обогнув столб, мы оказались на узкой, окаймленной каменными перилами галерейке над каньоном, который ниже превращался в широкую лесистую долину, а здесь был голым ущельем с узеньким ручейком на дне, поросшим в отдельных местах колючим кустарником, цепляющимся за скалы жилистыми корнями.

По склонам этого ущелья на разной высоте виднелись многочисленные отверстия пещер, соединенные целой системой каменистых тропинок и лестниц. Пещер там было неисчислимое множество — некоторые естественные, большинство, однако, правильной геометрической формы с тщательно разглаженными площадками у входа. Их назначение не вызывало сомнений. Тамбуры, преимущественно образованные колоннами, вели в квадратные кельи, в каждой из которых была просторная ниша для спанья. Иногда внутри были двух- или даже четырехкомнатные квартиры, разделенные посередине коридором. Свет проникал через узорчатые решетки окошек, прорезанных в передних стенах. Возле каждой площадки находился выдолбленный в верхнем слое лавы маленький колодец, заполненный чистой почвенной водой. Монахи в желтых одеждах, с бритыми головами могли вернуться сюда в любую минуту. Монастырь сохранился полностью. Залы заседаний с каменными скамьями вдоль стен; огромные монастырские трапезные с прямоугольными глыбами каменных столов, с кухонными очагами на возвышениях, украшенных колоннами и продолговатыми фризами барельефов.

— Приехать бы сюда в отпуск, — размечтался Михаил. — Чего еще можно желать? Солнце, тень, вода, горный воздух, сказочные виды и покой. Какой покой!

В начале долины, на могучем, высеченном прямо в скале столбе покоился лев Мауриев, охраняющий вход в монастырь. Я вспомнил, что когда-то буддизм был столь же могучей силой.

Господство Мауриев распространилось от Гималаев до крайнего юга Индии. Его границы до сегодняшнего дня обозначены вырезанными на скалах и колоннах эдиктами величайшего правителя династии Ашоки. Удивительные документы власти: они призывали уважать

жизнь всякого существа, будь то человек или животное, выражали сожаление императора по поводу победы, одержанной на одной из войн, которую он вел, осуждали завоевания, совершаемые с помощью оружия, а не моральной доктрины или, как сказали бы в наше время, идеологии.

Понятно, что такая политика не могла долгое время пользоваться успехом. Но ведь что-то от ее духа осталось в индийской традиции. Древняя буддийская основа ахимсы в руках Ганди оказалась действенным оружием. Лев Мауриев, конечно, не был беззубым животным. И в результате он стал гербом новой Индии. Он и чакра — буддийский «круг дхармы».

Я пытался все это себе уяснить. Перед глазами у меня явный контраст: Элефанта и Канхери. Символы двух возможностей, двух путей. Несмотря на многие заимствования и смешения, история избрала один из них.

В определенный исторический момент здесь возникли два варианта религиозного восприятия мира: для одного из них характерен эмоциональный биологизм, для другого — скептическая, интеллектуальная умеренность. Конечно, победило первое направление.

Отголоски древних доктринальных полемик свидетельствуют о том, что защитники брахманской ортодоксии упрекали Будду и его учеников в сибаритстве. Однако аскетический образ жизни, который буддизм отвергал, был — и остается в Индии до сих пор — одной из форм мистического восхищения телом. Практики-йоги образуют как бы одну сторону эмоционально-биологической основы. Другая сторона — натуралистические изображения культа. Буддизм не доверял крайностям. Он предписывал равнодушие. Даже в области моральных основ он сохранял холодность. Его милосердие — майтри — не достигало температуры любви. Он был разумным, но бесстрастным. И, может быть, поэтому ему пришлось капитулировать перед жизненной силой лингама.

Наш автомобиль по-прежнему был единственной машиной на покрытой гравием площадке. Однако, спускаясь к нему, мы прошли мимо нескольких босых, бедно одетых людей на террасе. Худой мужчина молился, касаясь лбом земли, у порога шаткой часовенки. Шофер, очевидно помнивший о моем вопросе, указал мне на него глазами. Перед этим он сказал, что в буддизм переходят прежде все-

го люди низших каст. Может быть, здесь и крылось существо проблемы. Нельзя говорить о брахманской ортодоксальности или об индуизме вообще, забывая о кастовой системе. Ведь именно этот иерархический, жесткий, поддерживаемый религиозными санкциями общественный порядок восторжествовал некогда над буддийским эгалитаризмом. Победу ему среди многих других причин облегчила буддийская в основе концепция трансмиграции. Она создавала перспективу, вселяла надежду, что социальное угнетение, которое не удастся преодолеть в земной жизни, все-таки не вечно. Такой порядок обеспечивал структурную и хозяйственную стабилизацию, более надежную, чем та, которую гарантировала рабская или феодальная система. Благодаря этому Индия в течение долгих веков вражеских набегов и иноземного господства сохраняла своеобразие и культурную обособленность — конечно, ценой огромного отставания в развитии цивилизации.

Ныне официально упраздненная кастовая система продолжает, однако, существовать. Ее авторитет поддерживают религиозные мотивы. Может быть, не доверяя светским формам законности, люди возвращаются к другой, тоже религиозной альтернативе? Может, и правительство Индии, пробуждая воспоминания об империи Мауриев и поддерживая всеазиатское буддийское движение, пытается заодно восстановить отечественные антикастовые традиции?

— Почему эти люди переходят в буддизм? — спросил я шофера. — Их кто-нибудь к этому побуждает?

Он на секунду оторвал взгляд от узкой бетонированной дороги, расстилающейся перед нами, и рассеянно покачал головой.

— Не знаю. В Индии все любят Будду. Он был такой симпатичный.



В огромном космополитическом Бомбее многие характерные черты индийской жизни стираются, становятся незаметными, особенно для иностранца. Первый кастовый шнур «дважды рожденных» я увидел на толстом пузе одного брахмана, который с осторожностью старомодного мещанина бродил вдоль приморского пляжа. Его купальный костюм состоял из доходивших до колен подштани-

ков, а высоко заколотый кок и свалывшаяся черная борода придавали рыхлому телу, явно не привыкшему к непосредственному общению со стихией, комическую важность. Нетрудно было заметить, что купание не доставляет ему особого удовольствия. Он нервно перебирал пальцами свой святой шнур и исподлобья бросал недоброжелательные взгляды на набегающие с моря волны. Но что-то удерживало его в воде. Как оказалось, это была золотисто-смуглая стройная русалочка в салатном «бикини» — очевидно, «прогрессивная» дочка, которой он сопутствовал в ее спортивных занятиях с бесильным неодобрением пресловутой наседки, вырастившей утенка.

Было нечто символическое в этой на иностранный манер «нескромной» и предприимчивой юности, пока еще послушной, но готовой в любой момент выпорхнуть на свободу и улететь за пределы, недостижимые для родительской власти.

Эту сцену я наблюдал на умеренно снобистском курорте, посещаемом зажиточными людьми; они приезжали из города на своих машинах и, сидя в тени разноцветных зонтиков, перелистывали заморские иллюстрированные журналы. Эта среда больше всего подвержена соблазнам «современного образа жизни», и, по всей вероятности, именно в ней внешние аксессуары старых обычаев быстрее всего станут компрометирующим пережитком.

Традиционный образ жизни по-прежнему составляет обязательную норму для огромного большинства населения. Патриархальность, показная добродетель, строгость кастового деления и тягостные законы ритуальной диеты все еще формируют облик индийской действительности. Матросы, которые бывали в южных портах, рассказывали мне, что в тех местах неприкасаемые, предупреждающие монотонными криками членов высших каст об опасности прикосновения к их «нечистому» телу, — самое обычное явление. В Бомбее их не видно, но достаточно проглядеть парочку газет, чтобы получить представление об актуальности проблемы.

Конечно, пресса нападает, пресса клеймит. Индийская пресса вообще демонстративно либеральна. Она не только возмущается реакционностью отсталых обычаев. Она способна вести полемику с правительством, не щадит вы-

дающихся личностей. В одном из периодических изданий я увидел стишок, едко высмеивающий призыв Неру уделять большое внимание личной гигиене. В заключение автор ехидно спрашивал: «Сумели бы вы, господа премьер, оставаться чистым, если бы у вас за всю жизнь было только одно дхоти?»

На фоне кастовой и иерархической традиции такая свобода кажется поразительной, впрочем так же, как и несомненный политический демократизм, особенно бросающийся в глаза по контрасту с отношениями, господствующими в арабских странах, которые, кстати говоря, охотно ссылаются на весьма демократическую структуру своего общества.

Мы как-то целый вечер проспорили с Марианом на эту тему. Мариан, классический рационалист, видел в религии главное препятствие на пути прогресса. Мне же кажется, что именно Индия доказывает несостоятельность такого обобщения. Ее либерализм, независимо от груза кастового устройства, вырастает непосредственно из сформированного религией образа мыслей.

Сколько же, впрочем, составных частей входит в этот сплав собственных и чужих традиций! А английская кастовость? Разве это не ловушка, которая подстерегает европеизирующуюся, отказывающуюся от своих предрассудков индийскую буржуазию? Импортные образцы уже ждут в готовом виде, обеспеченные гарантиями демократических свобод.

И это не парадокс. Клуб на Бич Кэнди, куда нас пригласил представитель «Польских пароходных линий» пан Вознякевич, до сегодняшнего дня действует на основе принятого его английскими основателями статута, задача которого заключается в том, чтобы обеспечить туда доступ только избранным. Теперь плавательными бассейнами клуба пользуются главным образом члены дипломатических представительств.

Нас не хотели пустить — швейцар вызвал нашего знакомого, и тот провел нас внутрь. Такая бдительность, объяснил он нам, является результатом инцидента, происшедшего в прошлом году. Поплывать в бассейне пришли несколько американских моряков, среди которых был один негр. Швейцар, не зная, под каким предлогом не впустить «цветного» в клуб, придумал отговорку, заявив, что вход разрешен только владельцам месячных абоне-

ментов. Однако один из моряков разгадал эту игру и демонстративно передал черному товарищу свой абонемент. С тех пор сюда впускают только по личному приглашению постоянных членов клуба.



Я просматривал в каюте газеты с таким чувством, словно разыскивал ценную пропажу. Они содержали либеральную правдивую информацию о невыполнении очередного хозяйственного плана, а также отчеты об успехах движения бхудан, упорно развертываемого учеником Махатмы Ганди — Винойой Бхаве. Он пешком путешествовал по стране, выпрашивая землю для безземельных. Недавно некий такур пожертвовал ему десять тысяч акров, а сам присоединился к свите босоного святого. Виноба Бхаве собрал уже в общей сложности больше восьми миллионов акров земли (из намеченных пятидесяти миллионов). В статье, исполненной восхищения и почтительности по отношению к неутомимому собирателю милостыни, звучали, однако, нотки меланхолического скептицизма. Все это было каплей в море в постоянно увеличивающемся море нищеты. Думая сегодня об Индии, я прежде всего уясняю себе, что в нашу эпоху это единственная страна, в которой мог действовать Ганди и существовать такое явление, как Виноба Бхаве. И что это не случайность, а следствие традиции, уходящей корнями в кажущиеся нам доисторическими времена императора Ашоки. Имеет еще значение и то, что существует общество, считающее статус доброй воли полноправным методом действия наравне с прагматическими средствами современной техники управления и распределения мирских благ. Я считаю, что нельзя этим пренебрегать, даже как символом.



Благословенный Дивали! Если б не он, наша стоянка здесь длилась бы не дольше двух дней. Сочетание техники девятнадцатого века с деревенскими методами работы дает неплохие результаты, и вот последние тонны руды исчезают в трюмах. Грузовики, при виде которых вспоминаются кадры кинохроник времен первой мировой

войны, подъезжают к бортам, а обнаженные докеры, подпоясанные лишь ситцевой тряпичей, руками и копачами сталкивают красные глыбы в железные ящики, и гидравлический кран поднимает их на палубу. Тела рабочих не отличаются по цвету от припорошенной ржавой пылью руды.

Рупии кончились — труднее стало выходить в город. Последняя прогулка по «висячим садам» Малабарских холмов, где над ухоженными с педантичной аккуратностью клумбами и подстриженными живыми изгородями мелькают, словно хлопья сажи, черные сипы — «обслуживающий персонал» скрытых за деревьями парсейских башен молчания. Последнее посещение Дома моряка, где полки загромождены новинками издательства «Пингвин», которые никто не читает, а из-за дверей демонстрационного зала доносятся топот и ржание увлеченных детективным фильмом нескольких десятков молодых шведов, американцев и греков. Затем возвращение пешком в порт, потому что денег на автобус уже нет. Целые километры нищеты. Тротуары так плотно устланы телами спящих, что идти можно только по мостовой.

Бомбей не желает нас отпускать. Мы должны были выйти в море двенадцатого в полдень, но в наш док водворили огромного «грека» с грузом шотландских пони. Он так долго маневрировал в шлюзах, что прилив кончился и нам пришлось ждать до одиннадцати вечера.

Теперь уже и пропуска потеряли силу. Люки задраили еще утром. Мы снова обречены на палубное существование. Индия осталась позади, хотя она все еще рядом, за бортом. Она послала нам на прощание делегацию, так и излучающую кротость и обаяние. На набережной, в тени склада, сидят на корточках девочки, одетые в пестрое тряпье. Старшей не больше шести лет. В ноздрях блестящие колечки, на тоненьких ручках и ножках позвякивают браслеты. Они поочередно — поодиночке или парами — выходят вперед и танцуют; их руки совершают очаровательные, по-детски угловатые движения.

После каждого выступления из пролома в стене выглядывают матери маленьких танцовщиц. Бросая по сторонам пугливые взгляды, они проверяют, не видно ли поблизости полицейского, а потом мягкими шагами цыганок подходят к борту и, разметая складки вылинявших сари, протягивают к нам руки. Мы приносим им банки

с соками. На сей раз это хорошие соки. Те, которые служили нам валютой в Акабе, были опечатаны баталером после проведенной в Бомбее санитарной экспертизы.

Со стороны бассейна релинг облепили бурые ястреба. Ежеминутно кто-нибудь из них молниеносным скользким движением ныряет в узкую расщелину между двумя кораблями, чтобы поймать в воздухе брошенный через борт кусок. Голоса птиц нежны и жалобны — трудно поверить, что они вырываются из хищно изогнутых клювов.

Я спускаюсь в каюту. Растянувшись на койке, пытаюсь читать. Очень душно, пальцы оставляют влажные следы на страницах книги. Через окно я вижу высокий борт «грека», над ним угловатый фрагмент палубной надстройки, желтый вентилятор, два прямоугольных иллюминатора и в правом верхнем углу кусочек портового крана. Эта композиция в модернистском стиле двадцатых годов медленно темнеет. Буквы становятся неразличимыми. Из репродуктора плывет приглушенная индийская музыка — ритмичный звон струн, переливы бубенцов, плаксивый голос певицы, протяжно ведущей мелодию и вдруг неожиданно меняющей ее тональность и темп. «Я еще в Индии», — думаю я.

На палубе надо мной раздается шум. Множество ног топает по железным ступенькам. Я узнаю голос электрика.

— Что ты принес, болван?! — вопит он. — Давай длинный кабель.

На палубе что-то передвигают, что-то устанавливают на крышке заднего люка. В потемневшем окне я вижу сгрудившиеся у борта «грека» расплывчатые фигуры. «Подключай!» — кричит кто-то. И внезапно горестные причитания индианки заглушает абсолютно металлический рев репродуктора: «Чао, чао, бамбина...». Начинается вечерний киносеанс под открытым небом.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ КРАСНОЕ МОРЕ

Нас ждет долгий, безостановочный путь по морю. После стольких неожиданностей, открытий, разочарований и волнений, после возбуждающе непривычной обста-

новки — это словно перспектива спокойной жизни на пенсии. По темно-синему морю пробегают небольшие быстрые волны, по небу плывут мелкие кучевые облака. Пока мы не встретили ни одного судна.

Большую часть времени я провожу в каюте, вызывая на листах бумаги образ другого, уже ушедшего мира — живущего в постоянной изнурительной тревоге, в обстановке повседневной жестокости и упорной надежды, мира, в котором я когда-то мысленно жил, мечтая о безмятежных далеких путешествиях. Случается, я так глубоко погружаюсь в него, что, отложив перо, ощущаю чудодейственное избавление. Я выхожу на палубу, и все вокруг кажется мне совершенно новым.

Морской пейзаж, когда с ним сталкиваешься изо дня в день, приобретает черты некоторой условности, подобно превосходной театральной декорации или заднику панорамы в кино. Может быть потому, что нельзя произвольно проникнуть в глубь него, и потому, что нам постоянно сопутствует с виду совершенно неподвижная линия горизонта. Это помогает сосредоточиться.

Однажды, сидя в шезлонге у борта, я оторвался от рассказов Бабеля и почувствовал себя так, словно меня неожиданно «катапультировали» в совсем другую действительность. Только что меня окружала подлинная до ощутимости атмосфера дореволюционной Одессы, запах юфти, чая и водки — и тут же широта голубого волнующегося пространства. Где я нахожусь? В Индийском океане.

Приходится прилагать усилия, чтобы не забыть о море. Только тогда видно, как непрерывно оно меняется, сколько может показать прекрасного. Стоит повеять ветрку, как оно облекается в другие цвета. Потемневшую поверхность внезапно пересекают длинные полосы зелени, все время меняющей свои стальные оттенки. Перед носом судна в поясе серебристого предвечернего сияния неожиданно появляется извергающий пену кашалот — живое напоминание о библейском левиафанае.

Я стараюсь не пропускать закатов. Часто они бывают банальны, разыграны небрежно, на скорую руку. Но случаются и тщательно, с большой режиссерской изобретательностью отработанные спектакли, насыщенные поэтическим чувством. В прозрачной пустоте перистые облака повисают в виде легчайших золотистых плюмажей,

а под ними вытягиваются по диагонали темные хвосты лежащих ниже облаков, тень от которых дрожит на поверхности воды, усеянная мельчайшими сверкающими чешуйками розовой слюды.

Ежедневно мы получаем обратно по часу того времени, которое отдавали, когда ехали в ту сторону.

Семнадцатого ноября после полудня мы миновали лиловые, потрескавшиеся скалы Адена. Потом нам встретились дельфины — самое большое стадо, какое мне до сих пор приходилось видеть. Они спешили, энергично выскакивали из волн. Доплыв до нас, они повернули и густым косяком помчались возле носа. Дельфинов было около сорока. Я смотрел на них с очень близкого расстояния. Трудно уследить за их движениями. Они носятся, как торпеды. Когда они выскакивают, у них закрываются глаза (может быть, их слепит солнце?), а на мордах открываются круглые дыхательные отверстия. Некоторые переворачиваются в воздухе и падают в воду боком. Часто они весело кувыркаются под водой. Но ни разу один не задел другого. Я не мог налюбоваться четкостью этих упражнений. И их темпом, безусловно воплощающим чистую радость. С волнением я следил за ныряющими животными, восхищенный чудесным сочетанием механики и жизни. Как они это проделывают? Серебряная полоса поперечного хвостового плавника направлена вглубь — он похож на пропеллер, работающий на полных оборотах.

Начинает чувствоваться близость пролива. Корабли, разбросанные доселе в огромном пространстве, чаще показываются на горизонте. Невидимые еще берега все ближе и ближе придвигаются к нам. Проходя через Бабель-Мандеб, мы пробирались в гуще других судов, словно среди роя светлячков. Уже спустилась ночь, светлая и прозрачная. Небольшой месяц стоит в самом зените между салатными барашками облачков. Из моря серыми призраками поднимаются скалы. Монотонно мигает морской маяк.



И вот опять Красное море, душный желоб в середине раскаленной пустыни. Воздух — горячий компресс. Суда непрерывно движутся на север и на юг. Мы проплываем

мимо голых красных островов, грубо вырубленных из камня, словно начатые и заброшенные скульптуры, или перерезанных пополам, с четкими слоями, по диагонали спускающимися к морю. С левого борта появляются силуэты африканских гор — они виднеются вдаль, на фоне размытого багрянца заката, плоские, принимающие тот же свинцовый оттенок, что и тучи над ними.

С левого борта во мраке полыхают желтые факелы нефтеперерабатывающего завода в Суданском заливе. Ловцы кораллов, очевидно, ложатся спать в своих лачугах, сооруженных из бочонков из-под бензина и старых мешков, а на набережных Порт-Судана докеры монотонно бормочут заклинания в глубине паровых трюмов. С другой стороны, за невидимым горизонтом, портовые сторожа в Джидде перебирают четки. Жизнь повсюду вокруг нас — по берегам и далеко в глубине суши — идет своим извечным порядком, как и в глубокой древности; пока еще она остается прежней, но благодаря сближению с техникой начинает двигаться, подталкиваемая ею, навстречу бурным метаморфозам. Эта ночь является частью исторического момента. Она вмещает в себя множество одновременно свершающихся событий, близких друг другу понятий. Средневековый феодализм, традиционная набожность ислама, «арабский социализм», африканский национализм, борющийся с племенной разобщенностью, крайняя нищета и крупнейшие нефтяные бизнесы, караваны верблюдов и международные авиационные линии — все находит в ней место по законам современной действительности. Именно сейчас, в данный момент, рождается новый мир. Каким же он будет?



Меня разбудил настойчивый звонок. В коридоре были слышны приближающиеся шаги. Если не считать этих звуков, вокруг царил непонятная тишина. Немного погодя я сообразил, что мотор не работает и даже дрожь, которая непрерывно сотрясает корпус корабля при действующей машине, прекратилась.

— Эй, боцман, огонь в машине, — произнес где-то рядом голос капитана.

Я нащупал выключатель ночника, нажал пальцем кнопку, но по-прежнему было темно. Я поднялся с койки и на ощупь оделся. В коридоре горели мутные аварийные лампы. По лестнице спускались заспанные люди. Старший матрос Мрувка затягивал поверх пижамы ремни кислородного аппарата. У дверей машинного отделения стояли несколько человек. Воздух был насыщен неприятным запахом паленой резины. Я вошел туда вслед за Мрувкой. На зеленых галерейках из рифленой жести никого не было, только внизу, возле распределительного щита, возились несколько человек в комбинезонах. Пока я озирался, пытаюсь выяснить, что произошло (ничего не было заметно, только от запаха горелого все сильнее першило в горле), засопели поршни, ярче засверкали лампы и стальные стены отозвались дрожащим звоном вибрации. Мы двинулись.

Было начало второго. Я заглянул в штурвальную рубку. Вахтенный матрос неподвижно стоял за штурвалом, освещенный слабым зеленым светом шкалы гирокомпаса. Капитан медленно прогуливался вдоль окон — темная фигура на фоне усыпанного звездами неба. По внутренней лестнице поднялся помощник. Он доложил, что пожар ликвидирован и что четвертого механика ударило током. Второй офицер устанавливал на крыле секстант для проведения замеров. Все шло своим чередом, как всегда, как каждый день, — никто и не думал о возможной катастрофе.

Утром того же дня в повеявшем встречном ветерке мы впервые уловили прохладу. Пока это было только напоминание. Еще не исчезло со стола красное вино — неотъемлемая принадлежность тропиков, еще тысячи миль отделяли нас от нашей осени. Мы знали, что в полдень снова будем стоять перед открытой дверцей холодильника в офицерской кают-компании.

Двадцать первого ноября в четыре часа утра мы бросили якорь в еще бесцветных водах Суэцкого залива. Многочисленные силуэты кораблей маячили вокруг нас. В полдень мы поплыли дальше, мигая сигнальными огнями.

Утро было душным. Красные песчаные горы слева, светло-зеленая поверхность залива, пальмы над далекими громадами городских зданий по правому борту — все это казалось размазанным, словно затянутым дрожащей

пленкой. Моторные лодки сновали от парохода к пароходу, развозя лоцманов или таща за собой вереницы маленьких лодчонок со швартовыми. Со всех сторон буксиры волокли караваны перегрузочных барж.

После десяти часов суда пришли в движение, но мы не попали в состав эшелона. Столбик ртути на градуснике около рубки показывал больше тридцати восьми градусов. Мы переносили и гораздо более высокую температуру, но неподвижность и вязкость воздуха делали жару особенно мучительной.

Агент обещал отвезти нас в город, но его моторная лодка не пришла в назначенный срок. Лично я воспринял это сообщение даже с некоторым облегчением, поскольку меня охватила какая-то необъяснимая апатия. После обеда я лежал на койке с книжкой. Внезапно в каюте потемнело, хотя через иллюминатор я продолжал видеть кусочек побелевшего от зноя неба. Я вышел на палубу. С севера быстро приближалась огромная рыжая туча, волоча за собой по морю темные неровные полосы. Зелень воды стала едкой, как ярь-медянка. На стены надстроек, на палубы, мачты и лица людей упало какое-то яркое злое зарево. Через мгновение все погасло. Суша, небо, соседние корабли скрылись в желтом тумане. Одновременно подул резкий ветер. Судно наполнилось свистом и ревом. В этом хаосе отовсюду неся неясный рык сирен и дребезжание гонгов. В кают-компании зажгли свет. Когда я туда возвращался, придерживаясь за железные поручни, под ногами скрипел песок.

Буря кончилась так же внезапно, как началась. Продолжалась она меньше получаса, однако успела расшевелить неподвижный мир, прогнав жару. За двадцать с небольшим минут температура упала до пятнадцати градусов. Теперь мы дрожали от холода. На море, которое приняло окраску гнилых оливок, все изменилось. Корабли дрейфовали на якорях. За нашей кормой столкнулись два арабских парохода, волны несли по заливу оторвавшиеся от берега перегрузочные баржи. О прибытии моторки агента не могло быть и речи, но мы не жалели о том, что упустили возможность осмотреть Суэц. Натянув свитеры, мы дышали полной грудью с таким чувством, словно обрели долгожданную свободу.

В канал мы вошли только на следующий день, который приветствовал нас прохладой и веселой чистотой

красок. Ветер украшал изумрудный залив белой пеной, а моторки лоцманов подпрыгивали на волнах, как дельфины. Нашим лоцманом был югослав — один из тех иностранных специалистов, которых пригласило правительство ОАР в 1956 году, после пресловутого «суэцкого кризиса». Поляков здесь осталось всего шесть-семь человек.

Я вспомнил, с каким возбуждением читал в свое время заметки об этом контракте. «Вот так случай», — думал я. Но югослав не был похож на искателя приключений. Пожилой, полнеющий мужчина сидел на стуле в углу рубки, позевывая в промежутках между командами, которые он бормотал себе под нос. Эффектные капризы моря, сюрпризы путешествия для него не существовали. Медленно двигаясь вслед за кормой знакомого нам по многим портам «Ротенфелса», мы миновали обелиск у входа в канал и теперь ползли по гладкому водному шоссе, по которому лоцман много лет ездил туда и обратно, как водитель автобуса, постоянно курсирующего по одной и той же трассе.



На Средиземном море ожидался шторм. И действительно, сразу же после канала мы вошли в его полосу. Веера пены высоко подымались над носом «Ойцова». В них дрожала радуга. Когда корабль выпрямлялся после очередного крена, с бака ручьями стекала вода. Нас все еще сопровождал холод — в каютах даже начали топить. Но борьба между двумя климатами проходила с переменным успехом. Ветер беспокойно менял направление — дул то с севера, то с востока, а к вечеру чаще всего совсем стихал, и тогда мир прихорашивался, улыбался, наполнялся сиянием ни с чем не сравнимой средиземноморской лазури. И мы снова снимали свитеры, снова расставляли на спардеке шезлонги.

Мы все еще шли вдоль африканского материка. За левым бортом мелькали голубоватые и фиолетовые холмы, покрытые скудной растительностью, пересеченные поперечными террасами виноградников. На некоторых вершинах обозначались силуэты башен или замков. Видны были также белые простыни песков, выброшенные на

склоны; кое-где из моря торчали сморщенные красноватые сталагмиты прибрежных скал.

Эти аркадийские виды сопровождались комментариями по радио. Со времени нашей поездки в ту сторону не произошло никаких изменений. Голос диктора с профессиональной сноровкой называл последние цифры жертв в Боне, в Оране, в других алжирских городах. Он сообщал, что ночь прошла относительно спокойно либо что где-то за последние сутки усилился террор. Когда количество трупов увеличивалось, его речь становилась более быстрой и более плавной — чувствовалось, что диктора радует обилие информации. Тела женщин и детей, разорванные осколками бомб у порогов разрушенных лавчонок, скрюченные тела мужчин на полу арабских кофеен, продырявленные пулями автомобили, брошенные посреди узких улочек, — теперь я мог себе все это представить. Я знал, как выглядят такие кофейни и такие улочки. Длинные столы с костяшками домино, жестяные рекламы кока-колы, глиняные стены домов и черные козы, бродящие по водосточным канавам, коричневые босые пятки, свисающие с края тротуара, пятна крови, расплывающиеся на белой галабии. Теперь это не было абстракцией. Но, когда я смотрел на далекие берега, все опять начинало казаться неправдоподобным, так поэтически прекрасны были величественные холмы с лежащей на них лиловой тенью.

Однажды, передвигая шкалу приемника, я поймал другой голос, перечисляющий названия тех же местностей, но не такой вышколенный и ровный и далеко не такой равнодушный. Этот голос показался мне знакомым. В нем звучали высокие и резкие, порой агрессивные нотки. Некоторые выражения оратор подчеркивал с демонстративной напыщенностью, которая должна была означать то едкую иронию, то презрение, то справедливое возмущение. За этим красноречием чувствовалась зыбкость мотивировок, сведенных к примитивной игре на чувствах. Даже если б я не знал целей ОАС, этот привычный голос демагогии объяснил бы мне все. Он кричал о чести, об истории, о борьбе до победного конца. Слова-ключи, слова-символы падали без передышки, словно сами представляли собой последние аргументы. Де Голль опозорил покрытый славой мундир французского солдата, предал, пренебрег Францией ради чужих интересов.

Де Голль понесет справедливое наказание. Какая-то другая волна перекрыла ядовитый тенор оасовского пропагандиста.

Я вышел на палубу. Мы огибали мыс Бон. Направляясь к белым портам в голубых заливах, по морю спокойно плыли грузовые суда и возвращающиеся с промысла рыбацьи катера. Когда мы были на уровне Бизерты, из глубины ясного неба выскочил блестящий реактивный самолет и с ревом совершил широкий круг над мачтами «Ойцова».



Радист получил сообщение, что мы должны идти в Лиссабон. Великолепно! Южный климат в конце концов одержал победу. Только иногда, при более сильном ветре, в нем чувствуется влажный вкус ранней весны. Мы с капитаном рассматриваем карты. Мариан был в Лиссабоне до войны. Он рассказывает чудеса о тамошнем ботаническом саде, о старых крутых улочках, об узкоколейке в центре города. Лиссабон оказался для нас сюрпризом. Мы уже не рассчитывали попасть ни в один порт по дороге. Наш восторг охлаждает Эдек, представитель команды. Он плавал на ближневосточной линии и в прошлом году был в Лиссабоне. Им вообще не разрешили сходить на берег. Поскольку было воскресенье, моряки придумали выход: они заявили, что хотят идти в костел. Тогда португальские портовые власти прислали роту полиции. В костел? Пожалуйста. На позднюю обедню под эскортом туда и обратно. Капитан прячет карты в шкаф. Мы утешаем себя мыслью, что за год многое могло измениться, но Лиссабон перестает нас привлекать. Тем временем арматор тоже от него отказывается. На следующий день мы получаем новые распоряжения. Уже не Лиссабон, а Малага. Что касается меня, я даже предпочитаю Малагу, однако и там надежда сойти на берег очень слаба. Никто из команды не плавал в Испанию. Поэтому мы настороже. У нас нет никаких оснований полагать, что Франко более либерален, чем Салазар.

Мы снова начинаем мыслить европейскими категориями. В арабских странах всегда можно рассчитывать на неразбериху, на несовершенство системы. Европа же последовательна.

Мы берем курс на северо-запад. Африканское побережье наконец исчезает из виду. Нас встречает дождь, и небо заволакивается облаками.

Двадцать восьмого на рассвете с правого борта показывается Сьерра де Альмерия. Этот горный пейзаж резко отличается от всех видов Востока. Он неизмеримо более выразителен. Непонятно почему, я растроган. Через окна рубки я гляжу на прекрасную картину, которая приближается и разворачивается перед нами. Солнце встает за кормой. Подвеченные золотом облака усыпаны тоненькими блестящими арабесками. Порозовевшее море покрыто низкими волнами. Над самыми горами клубятся фиолетовые и синие тучи. Среди темных мрачных вершин висят рыжие облака. Город Альмерия белеет у входа в широкую долину. На холмах каменные стены и укрепления, в лежащих на большой высоте долинах разбросаны белые домики. На западе широко развернувшаяся драматическая декорация — грязно-фиолетовые полосы, завесы синих дождей и между ними просветы мокрого пространства цвета зрелых оливок. Так я и представлял себе Испанию: театрально-патетической, мрачной и суровой.

Солнце взошло и сразу же растаяло в тучах, облив желтые мачты и зеленую палубу призрачным холодным светом. Мы входили в шквал. Нос судна приближался к устремившейся ему навстречу темной завесе. Потом черное море в одну секунду покрылось быстро бегущими волнами, на которых плавали клочья пены. Суша исчезла, во всех щелях свистел ветер. Но и это кончилось. Осталась одна только серость — теперь можно, ни о чем не жалея, спуститься в кают-компанию к завтраку. Но я нахожусь все еще под впечатлением этого волнующего зрелища. словно после концерта, когда музыка долго звучит в ушах, находя свое дальнейшее развитие, придавая всем чувствам и наблюдениям выразительность драматизированных каденций.

Почему я именно так представлял себе Испанию? В этом нет ничего удивительного. Я уже знал ее по портрету, правдивость которого с первого взгляда полностью завоевала мое доверие. Я видел это беспокойное грозное небо и дымящиеся горы на картинах Эль Греко. Я никогда не сомневался, что эти пейзажи помогают узнать нечто большее, чем топографию местности. Теперь я по-

нимаю, почему Восток, даже в самых живописных своих проявлениях, никогда не мог меня так взволновать. С этой землей у меня не было связано никаких переживаний. В области искусства у Востока не было портрета. Его художники создали для него только условные изображения — часто восхитительные, но не выходящие за рамки декоративности. В портретах придворных, тщательно скомпонованных, нет ни следа страсти и терпения. Были, правда, у Востока и чужеземные портретисты, но те видели его только извне. Многочисленные банальные живописцы, охотящиеся за экзотической красотью, за пальмами, верблюдами, смуглыми лицами и пурпурными тенями на песке. Правдивого, глубоко прочувствованного пейзажа Востока еще нет. Может быть, он не был нужен. Может, и этот элемент самопознания является особым, исключительным завоеванием Европы?

НАШ ДОМ — ЕВРОПА

В Малаге наш агент, дородный элегантный господин с ухоженными усиками, знакомясь, предупреждал удивление своих собеседников заранее приготовленной улыбкой:

— Совершенно верно. Пикассо. Да, дальний родственник. Ведь Пабло Пикассо тоже родился в Малаге.

Он привык к тому, что его фамилия производит впечатление, и немного кокетничал этим. Тем не менее он не мог знать, насколько символично прозвучит она в моих ушах в этот момент встречи с Европой.

Я задал ему вопрос, который у нас с Марианом так и вертелся на языке:

— Что нужно для того, чтобы попасть в город?

Он сделал шутливый приглашающий жест:

— Лучше всего спуститься по трапу.

— У нас нет виз,— объяснил я.— Мы не знаем здешних полицейских законов.

— А какое отношение к этому имеет полиция? Пока вы с ней не вступите в конфликт...

— Значит, можно получить пропуска?

— Зачем?

Мы все еще не могли поверить.

— А если нас задержат у ворот?

— Кто?

Движением головы он указал на окно. Бульвары маленького, состоящего всего из двух бассейнов порта примыкали непосредственно к центру города. Широкие ворота в ограде из проволочной сетки были распахнуты настежь.



Нас поразила чистота Малаги. Не по контрасту с городами Востока, хотя такое впечатление легко может создаться. Вполне достаточно сравнения с Италией или Южной Францией, не говоря уже о Польше. Здесь, в самой бедной европейской стране, даже нищета опрятна. Многочисленные слепцы, почти на каждом углу продающие лотерейные билеты, были в чистых рубашках и тщательно начищенных башмаках. Чувствовалось, что это вопрос собственного достоинства. Но не только чистотой завоевала Малага наши сердца. Красивых мест в ней искать не приходилось. Она ласкова и скромна и доступна с первого взгляда.

Прямо из ворот порта попадаешь на широкий проспект с тенистой аллеей посередине, усаженной пальмами, платанами и апельсиновыми деревьями, мелкие плоды которых поблескивают в темной листве, как елочные украшения.

На эту импозантную эспланаду выходят фронтоны солидных городских домов — типичной «недвижимости», обладающей, без сомнения, длинной историей семейных успехов и ипотечных записей. Попадают там и современные административные здания или универмаги, но общий тон создают длинные венецианские окна с жалюзи и крыши, покрытые рифленой средиземноморской черепицей — зеленой, красной или рыжей.

Однако девятнадцатый век представлен только приморским фасадом города. Вглубь ведет запутанная сеть улочек и переулков, крутых, капризных, часто шириной не больше коридора старомодной квартиры. На этих улочках поперечные вывески магазинов почти достигают противоположных белых стен, эркеры и засаженные цветами балконы соприкасаются, а находящиеся в слишком близком соседстве окна закрыты цветными тентами. На

многих из этих улочек нет тротуаров (для них просто не хватает места), на некоторых мостовых мелкими разноцветными камнями выложены замысловатые узоры.

Еще с моря мы видели на двух близлежащих холмах развалины каких-то крепостей или замков, но пока мы не стали их искать, поддавшись очарованию живого города. Теперешняя жизнь, а не старина казалась самой существенной чертой его настроения. Жизнь безусловно провинциальная, может быть, без большого честолюбия или полета, но столь естественно связывающая современные требования со старинной архитектурой и теснотой, словно избрала для себя такие рамки согласно своим привычкам и склонностям, не чувствуя их анахронизма, не возводя его в культ, но и не испытывая раздражения. Моросил мелкий дождь. Блестели мостовые, блестя автомобили и зонтики прохожих. Однако на улицах и в пассажах движение было очень бурным, хотя и лишенным южной крикливости или возбужденности. Люди важно раскланивались друг с другом, останавливались перекинуться несколькими доброжелательными фразами. Спокойное звучание голосов, сдержанность жестов гармонировали с мягкостью влажного воздуха.

Огненный темперамент Андалузии (так же как многократно воспетая красота андалузских женщин) казался мифом. Разве что такое самообладание служит внешней маской, скрывая пылкость чувств. Нам, однако, эта атмосфера буржуазной степенности была необычно приятна. Мы с удовольствием погружались в нее, отдаваясь течению петляющих улиц, лениво осматривая витрины магазинов, заходя в винные погребки, чтобы возле оцинкованной стойки среди рабочих в тиковых блузах и наклонившись на ухо беретам выпить стаканчик густой янтарной малаги.

Все наши маршруты неизменно заканчивались на тихой вымощенной камнем площади перед порталом огромного собора в стиле барокко. Очевидно, здесь сходились дороги старого города. Серая, произвольно расчлененная громада собора высоко вздымалась над окружающими домами. От одной из двух его башен была отсечена половина. Удивительный был этот барокко. Богатый и одновременно строгий, преувеличенно удлиненный в пропорциях и в то же время похожий на романский стиль благодаря тройным аркам окон. Рядом

стояло небольшое прямоугольное здание с покатою крышей, связанное с храмом низким, очевидно монастырским, флигелем. Сооружение это с архаическими глиняно-каменными стенами, почти без окон, напоминало заброшенный сарай. Но за углом, со стороны ближайшей поперечной улицы, простоту этой конструкции неожиданно оживляло богатство украшенного акантом готического портала. Внутри собора было множество колонн и боковых часовен, его свод составляли несколько овальных куполов, а часть нефа была огорожена решеткой. Здесь царила аскетическая пустота — голые побеленные стены, балочные перекрытия плоского потолка и маленький алтарь в стиле барокко, стоящий на каменных плитах пола. Объяснения церковного сторожа помогли понять, за счет чего создается не исчезнувшее с веками ощущение импровизации. Этот собор был когда-то мечетью. Его стены помнили времена кайдов.

До сих пор мы не замечали следов мавританского прошлого Малаги. Живой организм города столь успешно поглотил их потому, что арабы покинули страну, не оставив наследников. Теперь мы стали обращать внимание на немногочисленные признаки их пребывания. В одном месте двойная аркада, в другом — оконная решетка искусной работы либо квадратная башенка с лоджией.

Городской музей, расположенный неподалеку от собора, разместился в тщательно обновленном небольшом дворце мавританского патриция тринадцатого века. Очарование и изящество его архитектуры казались современными по сравнению с чисто европейским строительством той эпохи. Укромные дворики с небольшими водоемами, легкие нарядные воротца, внутренние галереи, опирающиеся на филигранные колонны, изящно украшенные резьбой и орнаментом потолки — все свидетельствовало о гедонизме и утонченных вкусах прежних хозяев этой земли. Только здесь мы открыли для себя тот самый блеск арабской цивилизации, который не всегда легко найти на мусульманском Востоке.

Собрание музея ограничивалось картинной галереей — небогатой и не очень интересной. Среди произведений старого искусства заслуживали внимания два прекрасных портрета монахов кисти Зурбарана. В остальном преобладали плохие копии и работы третьеразрядных учеников испанских школ периода расцвета стиля

барокко. Залы на втором этаже были заполнены творениями местных знаменитостей девятнадцатого века. Там безраздельно господствовала помпезность. Патетические высокопарные жесты, сентиментальные символы — театр истории, театр чувств, единственной формулой которого является высокопарность. Мы попали в атмосферу детства Пикассо. Полотна этих декламаторов были первыми словами искусства, какие ему довелось услышать. Ведь создатель галереи Антонио Муньос Деграин был его первым учителем. Вереницы благородных призраков, патриотические пророки, бурно жестикулирующие на фоне исчерченных молниями небес, мрачные герои, скачущие над пропастями на взмыленных лошадях, — все очень большое и очень синее. В середине длинной стены находилась маленькая застекленная витрина, в которой лежала пожелтевшая фотография художника, несколько исписанных бисерным почерком листочков и два подкрашенных акварелью карандашных рисунка. На рисунках — выразительные фигуры стариков и стершиеся, старательно выписанные детской рукой посвящения. Никто из нас не знал испанского, но на табличках была написана фамилия автора: Пабло Пикассо и указан возраст: под первым — девять лет, под вторым — десять.

— Да, он тогда учился у Антонио Муньоса, — подтвердил экскурсовод. — Оба эти эскиза он подарил учителю. Закутанный в плед старик — его дед.

Мне вспомнилось интервью с Пикассо, на которое я наткнулся в одной монографии.

«Если бы во времена моего детства существовал обычай устраивать выставки детского искусства, — говорил автор „Герники“, — я не смог бы принимать в них участия. Уже десятилетним мальчиком я рисовал, как Рафаэль».

В этих словах, очевидно, скрывалась провокационная буффонада. Рисунки за стеклом не имели ничего общего со зрелым мастерством эскизов Рафаэля, но их безусловно не постыдился бы ни один художник академического направления девятнадцатого века.

Не далее как накануне вечером мы вели на корабле один из тех бесплодных споров о современном искусстве, в которых неизбежно используются доводы вроде того, что «любой ребенок так сумеет» или что деформация — это уловка, к которой прибегают, пытаясь скрыть отсут-

стве мастерства. То, что мы сейчас увидели, могло послужить контраргументом только в дискуссии, не относящейся к искусству. Это был редкостный пример умения повторять, но не говорить самому — с помощью цвета и формы, — хотя такая способность часто бывает прирожденной, результатом детского инстинкта. Глядя на эти прекрасно выполненные рисунки, я думал, что они с таким же успехом могли предсказывать карьеру добросовестного чиновника или виноторговца. И, как никогда до сих пор, я понял таинственный героизм художественного гения Пикассо.



Ресторан «Эль Пимпи» порекомендовал нам агент, попросив, однако, проявить снисходительность. Что поделаешь, сезон корриды кончился, а Малага — город провинциальный, она немного может предложить. Мы сидели в большой мрачной комнате. Когда-то здесь находилась конюшня для почтовых лошадей. Маленькие окошки были прорезаны под самыми балками потолка. На стенах висели сети и тамбурины, над огромным камином чернела голова быка, окруженная бандерильями. Занято было всего несколько столиков. Молодые люди, как близнецы похожие на наших бородачей, шепотом флиртовали с пышными черноглазыми сеньоритами. На эстраде расположился джаз-оркестр — три двадцатилетних паренка, играющие воодушевленно и жизнерадостно, скорее для себя, чем для пустого зала.

Мы пили малагу, по вкусу напоминающую изюм. Скептический агент был прав — этого местного колорита не могло хватить на целый вечер.

Мы уже поглядывали на выход, когда дверь отворилась и появился рослый грузный мужчина в мокром плаще, накинутом на смокинг. За ним вошли две коренастые девицы, у которых из-под пальто виднелись складки ярких юбок, и молоденький кудрявый паренек в ботинках на высоких каблуках. Девушки были похожи на цыганок. В ушах у них покачивались золотые кольца, шеи были покрыты многочисленными нитками бус. Музыканты покинули эстраду. Вновь прибывшие небрежно сбросили верхнюю одежду на стулья. Человек в смокинге, опершись о пианино, заговорил мягким, чуть хрипло-

ватым голосом. Произносимые им слова складывались в удивительные, неожиданные ритмы, но лишь когда он потянулся за лежащим на пианино тамбурином и несколько раз небрежно ударил по нему, я понял, что он поет. Постепенно голос его набирал силу. Временами он умолкал и потрясал бубном, так что медные тарелочки громко бренчали, а потом продолжал свой рассказ в другой тональности, то неожиданно ускоряя ритм, то снова растягивая мелодию. Мало-помалу эта мелодекламация окрасилась страстью, полной очаровательного лиризма и дикости. Она превращалась в песню, которая была одновременно высокохудожественной и построенной по старинным законам. Закончилась песня пианиссимо, исходящим из сдавленной гортани; тихий звук долго дрожал в воздухе, прежде чем окончательно замереть. Однако еще до того как эта едва слышная нота растаяла в воздухе, раздалось сухое шелканье кастаньет. Одна из девушек — рыжая, приземистая — появилась перед эстрадой, подняв кверху руки. Она танцевала медленно, откинув назад голову, а ее молодое нескладное тело двигалось, как на пружинах, идеально точно следуя ритму. Мужчина в смокинге взял гитару. Скупым позвякиванием струн он намечал мелодию, а когда танцовщица замирала, словно изнемогая от постоянного напряжения сдерживаемых чувств, исполнял какой-то короткий куплет либо подгонял ее сердитым окриком.

Тем временем зал «Эль Пимпи» заполнялся. Люди тихонько усаживались за столики, захваченные зрелищем не меньше нас. Рыжую девушку сменила брюнетка, более быстрая, более стремительная в движениях, а когда и она в свою очередь сошла с паркета, вышел мальчик, нетерпеливо отбивая такт высокими каблуками. В короткой черной курточке, в узких брюках с высокой талией, он выглядел как молодой торреро, готовящийся к борьбе. Гибкий, твердый, словно стальной клинок, он двигался с необычайной грацией, мелкими шажками, часто останавливаясь и дополняя прерванные фразы мелодии очередными порывистой, быстрой чечетки. Всего несколько минут танцевал мальчик один. Потом к нему присоединились девушки, но их роль была пассивной. Это был его танец, танец токующего петуха. Он явно царил надо всем. Он очаровывал, соблазнял, привередничал и пугал, становился все более прихотливым, все более пылким.

Неожиданно зал принялся вторить ему ритмическим хлопанием в ладоши. Мальчик впал в транс. В распянутой на груди рубахе, с сосредоточенным лицом, подстегиваемый брэнчанием гитары, он дрожал, как натянутая струна,— изящный и безумный, словно племенной жеребец, охваченный гневом, боязнью и вожделием.

Потом гитара смолкла. Танцоры, не поклонившись, отошли к своему столику, и только человек в смокинге продолжал еще некоторое время петь.

На улице моросил мелкий частый дождик. Вечер наполнял пустые улочки запахом моря. У ворот порта до нас донеслись странные звуки, похожие на скрип, ритмично прерывающийся чьим-то сопением. В неярком свете фонаря на набережной, против борта «Ойцова», мы заметили скопление людей. У релинга виднелись фигуры моряков. Там что-то происходило. Толпа на набережной то замирала, то дружно, словно по приказу, начинала колыхаться. Через мгновение мы услышали хор сдержанных голосов, напевающих монотонную мелодию. Мы подошли к поющим. Это были дети. Мальчики десяти-двенадцати лет в штанах из овечьих шкур, девочки в коротеньких пестрых платьицах и соломенных шляпах. Дирижер этого хора держал в руке длинный пастуший кнут. Перед началом каждого куплета он щелкал им, задавая ритм замысловатой серией громких выстрелов. Тогда над головами вырастал лес рук с тамбуринами, кастаньетами и бунчуками с цветными лентами, а потом хор подхватывал припев под скрежещущий аккомпанемент нескольких старинных друмлей. Пение сочеталось с танцем на месте, заключающимся в ритмичных движениях бедер и плеч. Дирижер подошел к нам со шляпой в протянутой руке. За каждую падающую в нее песету он благодарил оглушительным ударом кнута.

Бедняги не могли рассчитывать на хороший сбор. Кроме «Ойцова» в порту стояло только два корабля, принадлежащих местной линии берегового обслуживания. С «Ойцова» они уже получили скромную дань, но несмотря на это, не уходили. Я остался у борта. Дети еще долго пели и плясали под проливным дождем, не обращая внимания на холод, испытывая глубокое волнение от собственного искусства, отдавшись волшебному очарованию медленных сложных ритмов, возможно, еще более древних, чем все памятники Малаги.

■

Немногого не хватало, чтобы Средиземное море стало внутренним морем ислама. Мы редко задумываемся над отвергнутыми альтернативами истории. Но в них есть что-то тревожное, они действуют на воображение. Ведь все могло сложиться совершенно иначе. Эта шершавая красноватая земля, на которой в самых неожиданных местах подымаются к небу нагромождения горных хребтов, уже не раз в истории бывала европейским оплотом восточных и африканских культур.

Возвышающиеся над городом башни с бойницами разрушенной мавританской крепости Хибральфаро были когда-то возведены на фундаменте финикийских стен, сеть которых еще ясно видна под более молодыми слоями средневекового кирпича. Рыжие, покрытые известью стены из каменистого гравия и глины. Развалины крепости, возраст которой — четыре тысячелетия. Должно быть, она хорошо сохранилась, потому что большая ее часть была использована арабами. Кроме того, трудно придумать более удобное место, господствующее над портом и всей долиной, защищенное со всех сторон обрывистыми склонами.

После вчерашнего ненастья погода не установилась; воздух был пронизан лучами яркого зимнего солнца, в сиянии которого разбросанные по склонам и долинам селения сверкали ослепительной белизной. По морю быстро пробегали полосы дождя; темные вершины стояли, закутавшись в плащи туманов, как угрюмые гидальго. На фоне этих декораций узкие галереи между парапетами стен, ущелья бойниц, глубокие дворы бастионов, каменные лестницы и мрачные, зигзагообразные пролеты въездных ворот казались взятыми из рыцарской баллады. От одних из ворот к городу спускалась двойная лента стены — укрепленный проход протяженностью в несколько сот метров, соединяющий Хибральфаро с Алькасабой, резиденцией каидов, расположенной на вершине менее высокого холма.

Еще в тридцатых годах Алькасаба был самым нищим районом Малаги, заселенным местными цыганами. На снимках периода реконструкции, помещенных в одном из залов музея, изображены нагромождения сараев и клетушек, которые, словно ласточкины гнезда, облепля-

ли корпуса домов и плотно заполняли границы старых укреплений. После удаления этих наростов дневной свет снова увидели прекрасные павильоны гаремов, парки с облицованными мрамором водоемами, тенистые галереи, каменные решетки окон, искусно сплетенные в виде растительных орнаментов. Дворец представляет собой наполовину сад, наполовину дом. Расположенный на разных уровнях, он составляет настоящий лабиринт дворов, крытых галерей, залов с колоннадами, переходящих в открытые дворы, покоев с ажурными стенами. Снаружи его окружает крепкий панцирь каменной стены, а путь к нему лежит через ряд ворот в крепостных башнях; внутреннее же убранство дворца должно было служить не укреплению власти, а наслаждению ею. В Хибральфаро и Алькасабе проявляются две стороны арабского господства — сила и мягкость. Это обычный порядок вещей — завоеватель под защитой вооруженной стражи наслаждается плодами победы. Важен способ, коим он это делает. Мавры оставили на испанской земле памятники изысканной культуры, утонченного вкуса, продемонстрировали образ жизни, по сравнению с которым обычаи Европы того времени казались грубоватыми. Может быть, этот иберийский черенок ислама имел шансы развиться в универсальную цивилизацию, которая стала бы гордостью мира?

Любителю поразмышлять на исторические темы Малага дает неограниченные возможности. При входе в Алькасабу, у склона холма, сейчас ведутся раскопки остатков римского театра. Некоторые фрагменты этого здания, столбы колонн и резные капители, можно найти в самой Алькасабе. Арабские строители использовали их для украшения дворца.

Римские арены также напоминают расположенную неподалеку современную арену боя быков. Она видна со стен дворца, обращенных к берегу моря. Возле круглых трибун — модернистское здание администрации, немного подальше — труба бойни, стоянка автомобилей, конюшни, лазарет. Целый развлекательно-потребительско-животноводческий комбинат.

Энтузиасты корриды утверждают, что это не спорт, а искусство. Однако, какое бы ни существовало о ней мнение, это безусловно промысел. Но и в таком прозаическом облике она остается культурным явлением, не

менее поразительным, чем остатки финикийского, римского или арабского владычества. Ее начало уходит в глубь так называемых сумерек истории, и никто сегодня уже не может с полной достоверностью их осветить. Рассказывают о завезенном римскими легионами из Персии культе Митры и связанных с ним таинствах боя быков. Древность традиции делает вполне правдоподобной такую церковную родословную корриды. На этой древней земле, с незапамятных времен засеянной зернами верований Востока, все имеет некоторое отношение к мифологии. И у подножия финикийских, римских и арабских стен практическая схема нашей цивилизации создаст множество неожиданных перспектив. Можно было, например, попытаться составить религиозно-бытовую монографию бифштекса из Малаги. Она в свою очередь явилась бы достаточно типичным проявлением европейского образа мыслей, распространенного в самых северных районах материка.



На корабль грузили изюм, вино в оплетенных ивовыми прутьями бутылках и тюки какой-то прессованной травы; к борту их подвозили запряженные мулами платформы. Солнце снова ярко светило на безоблачном небе, а люди блаженно улыбались, несколько неуверенными шагами прогуливаясь по палубам. Их сердца подогрелись тихим весельем малаги. Только Длинный Янек, симпатичный бородач с «моей» вахты, грустно лежал в каюте на корме с забинтованной и залепленной пластырем головой. Господин Пикассо и капитан забрали его прямо из тюрьмы, где он провел минувшую ночь из-за чрезмерной симпатии к Испании. По-видимому, он выражал ее с импульсивностью, которая вызвала беспокойство полиции. Представители власти в своих шляпках с лакированными ремешками, которых мы со спины приняли за опереточных персонажей, на деле оказались людьми, лишенными чувства юмора, но зато склонными к решительным действиям.

— Так же как в Южной Америке,— говорили опытные моряки,— наткнешься на фараонов, так они тебе сперва морду набьют, а потом только поинтересуются, в чем, собственно, дело.

Разбросанные у подножия серо-зеленых гор белые и розовые кубики домов, разноцветные крыши, испещренные полосками жалюзи окошки, серые башни собора и резные кружева развалин долго еще притягивали наши взгляды, пока полностью не расплылись в легкой дымке.

Ночь застала нас у входа в Гибралтарский пролив. Африка еще раз приблизилась к нашему борту выдвинувшимся далеко в море серпом огоньков Сеуты. Справа от нас торчала фантастическая скала Гибралтара; она была немного темнее ночного неба и, как елка, оплетена гирляндами сверкающих лампочек. Над нами повисли яркие неподвижные звезды. На воде танцевали красные, зеленые и белые огоньки. Экран радара показывал узкое пространство между мысами суши и — похожие на рассматриваемые в микроскоп кровяные тела в артерии — точки судов, ползущих в обоих направлениях.

После выхода в Атлантику что-то внезапно изменилось. Не только в мире, но и в нас. Начавшийся день был солнечным, дельфины прыгали на волнах, но дыхание пространства как бы стало учащенным, и само сверкание погожего дня казалось временным и ненадежным. Наши сердца начали биться в ускоренном неспокойном ритме, будто человек неожиданно перешел ту границу жизни, за которой начинаешь ощущать стремительный бег времени. Расстояния сокращаются, события развиваются слишком быстро, изменения происходят скачками без всякого предупреждения.

Когда мы ехали в ту сторону, мы покидали область раннего осеннего ненастья. Впереди была страна вечно-го солнца и чужих забот, и в ходе нашего существования мы словно раскрывали какие-то скобки, чтобы приостановить или замедлить течение повседневного жизненного повествования. И вот теперь мы закрывали эти скобки к нашему сожалению, но в то же время и к радости. На карте длинная линия рейса в самом конце была изломана острыми поворотами, повторяющими сложные очертания берегов нашей маленькой тесной родины — Европы. Теперь уже скоро мы снова ощутим все ее разнообразие и как нечто само собой разумеющееся примем ее глубокие внутренние противоречия. Пока, однако, наше воображение действовало еще согласно перспективе широкого горизонта, и политическая дезинтеграция мира, за динамическим движением которой мы следили

в пути почти невооруженным глазом, казалась нам менее существенным явлением по сравнению с более медленным, но столь же упорным процессом его цивилизационной унификации.

Горизонт сужается все заметнее. Как здесь близко! За несколько часов от мыса к мысу, от залива к заливу. И небо все ниже, и дни короче.

Мы только что обогнули мыс Сан-Висенти при прекрасной погоде, и вот уже тяжелая бортовая волна, которая в сером тумане отсвечивает свинцовым блеском, подгоняет нас к мысу Финистерра. А вот и Бискайский залив; несмотря на ранний час, уже спустились сумерки, насыщенные холодной изморосью.

На следующее утро еще более сильная волна с кормы гонит нас по Ла-Маншу. Палубы покрываются росой. Капельки росы усеяли ворсинки синей куртки первого помощника, который после вахты приходит завтракать. Он с хрустом растирает покрасневшие от холода руки.

— Ну что ж,— говорит он,— третье декабря, ничего не поделаешь.

Пресловутые «белые скалы Дувра» едва маячат в тумане. Мы все больше углубляемся в водянистую серость севера. Команда уже говорит только о покупках в Кильском канале. Это их «валютная» привилегия. Длинный Янек, все еще облепленный пластырями и с огромным синяком под глазом, бегаёт с ценником и списками заказов. Устраиваются затяжные совещания. Заказы оставят на первом шлюзе в Брунсбюттеле, а на последнем моряков уже будут ждать аккуратные пакеты; на каждом ярлыке будет написана фамилия покупателя.

Ветер усиливается, достигает девяти баллов, но ночью он стихает, чтобы назавтра сорваться с не меньшей силой.

В неглубоком волнуемом устье Эльбы мы остановились пятого декабря около восьми часов утра. Мы принимали на палубу всех лоцманов, проводивших ночью корабли в противоположном направлении. Они приплыли с плавучей базы на маленьких овальных моторных лодках, которые просто исчезали в провалах среди гнило-зеленых волн, чтобы снова затем, точно пробки, выскочить на их хребты. Каждая такая лодчонка долго болталась у нашего танцующего борта, прежде чем человек в прорезиненном плаще, с которого стекали струи

воды, ухитрялся выбрать подходящий момент и отчаянным прыжком вскочить на штурмтрап. Через мгновение над релингом показывалось мокрое, одеревеневшее от ветра и соли лицо со стиснутыми челюстями. Вахтенный отводил лоцманов в кают-компанию, заботливо поддерживая их под руку. Там они тяжело опускались на стулья и будто ошупью брали заочневшими пальцами принесенные стюардом кружки горячего кофе. Пили они молча, закрыв глаза, и только через некоторое время их щеки и губы приобретали достаточную подвижность, чтобы улыбнуться. Тогда они с облегчением вздыхали, начинали осматриваться вокруг и шарить по карманам в поисках трубок.

Лишь на следующий день мы узнали, что одна из этих на редкость проворных лодок утонула, перевернутая волной, и что наше судно было последним, которому в тот день разрешили войти в канал. Но до этого в течение целых суток мы двигались, словно по шоссе, по густо заселенной земле Европы, очень плоской, очень мокрой и серой и такой аккуратной на вид, такой благоразумной с ее заводами, городами, черными, тщательно распаханными полями, зелеными лугами, голыми деревьями, грязными овцами, пасущимися на пастбищных холмах. А ночью между освещенными окнами, неоновыми рекламами и движущимися лентами автомобилей мы видели разукрашенные свечами елки. Мы были дома.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
На «Ойцове»	12
Мир Будденброков	20
Антверпен — Суэц	33
Тракторы для Иордании	41
Хранители могилы пророка	52
Уголок Африки	63
Обыкновенная неделя	75
Грустное Карачи	79
По следам Синдбада Морехода	91
Под сенью райского дерева	96
Нефтяные миллионы	134
Бомбейская руда	146
Возвращение через Красное море	184
Наш дом — Европа	194

Ян Юзеф Щепанский

В РАЙ И ОБРАТНО

*Утверждено к печати
Секцией восточной литературы РИСО
Академии наук СССР*

Редактор *Т. Г. Максимова*
Художник *А. А. Борисов*

Художественный редактор *И. Р. Бескин*
Технический редактор *Л. Т. Михлина*

Корректоры *Т. К. Кузича* и *Н. Б. Осягина*

Сдано в набор 24/X 1966 г. Подписано к печати 25/II 1967 г. Формат 84×108^{1/32}
Печ. л. 6,5 Усл. п. л. 10,92 Уч.-изд. л. 11,01 Бум. № 2 Тираж 50000 экз
Изд. № 1571 Зак. № 1555 Цена 66 коп.

Главная редакция восточной литературы издательства «Наука»
Москва, Центр, Армянский пер., 2
2-я типография издательства «Наука»
Москва Г-99, Шубинский пер., 10

Цена 66 коп.